Бернард Шоу

Майор Барбара

Дискуссия в трех действиях

1906 г.

Перевод пьесы - Наталия Леонидовна Рахманова, Нина Леонидовна Дарузес

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КРИТИКАМ

Прежде чем углубляться в анализ «Майора Барбары», разрешите мне, защищая честь английской литературы, выра­зить протест против непатриотичной привычки, приобретенной моими критиками. Едва им покажется, будто то или иное мое мнение выходит за рамки представлений, скажем, заурядного провинциального церковного старосты, как они делают вывод, что я перепеваю Шопенгауэра, Ницше, Ибсена, Стриндберга, Толстого или еще кого-нибудь из ересиархов северной или во­сточной Европы.

Сознаюсь, есть что-то лестное в этой простодушной вере в мои достоинства как полиглота и в мою эрудицию как филосо­фа. Однако я не могу поддержать исходной посылки, будто жизнь и литература на наших островах столь убоги, что за всяким драматическим материалом необщего порядка и за идея­ми, отличающимися мало-мальской глубиной, нам нужно ездить за границу. Поэтому осмелюсь ознакомить моих критиков с не­которыми фактами касательно моих взаимоотношений с совре­менными идеями.

Лет пятьдесят назад ирландский писатель Чарлз Ливер написал книгу «Однодневная поездка: роман жизни». Ее начал печатать в «Домашнем чтении» Чарлз Диккенс, но она до та­кой степени пришлась не по вкусу читательской публике, что Диккенс посоветовал Ливеру поскорее закругляться. В детстве я читал отрывки из романа, и он произвел на меня неизгладимое впечатление. Герой был очень романтический, он старался жить мужественно, рыцарски и ярко с помощью одного лишь воображения, питаемого из романтического источника, но не имея за душой ни стойкости духа, ни средств, ни познаний, ни опыта, не имея за душой ничего реального, кроме жизненных ап­петитов. В злополучных столкновениях незадачливого героя с Жизнью я даже в детстве уловил привкус горечи, несвойственный, как правило, романтической беллетристике. Несмо­тря на провал, книга жива до сих пор: я видел заглавие в таушницевском каталоге.

Так почему же, когда я тоже пишу о трагикомической иронии конфликта между реальной жизнью и романтическим воображением, критики никогда не связывают меня с моим соотечественником и непосредственным предшественником Чарл­зом Ливером, а с уверенностью возводят меня к норвежскому автору, на языке которого я не знаю и трех слов и о котором и вообще-то услыхал годы спустя после того, как Шоу самым недвусмысленным образом сформулировал свое Anschauung[1] в со­чинениях, где полным-полно того, что десять лет спустя похо­дя назвали ибсенизмом? Да я не мог быть ибсенистом даже из вторых рук, так как Ливер, возможно, и прочитавший Анри Бейля, alias[2] Стендаль, уж наверняка не читал Ибсена. Книг, сделавших Ливера популярным, а именно «Чарлз О'Малей» и «Гарри Лорекер», я не читал и знаю только названия и неко­торые иллюстрации. Но история однодневной поездки и романа жизни Потса (претендующего на родство с Поццо ди-Борго) увлекла меня и очаровала, показавшись мне странной и необык­новенной, хотя я уже все знал про Альнашара, Дон Кихота, Си­мона Таппертита и многих других романтических героев, осмеянных реальной действительностью. Начиная с пьес Аристо­фана и кончая повестями Стивенсона это осмеяние знакомо всем, кто как следует напичкан литературой.

В чем же заключалась новизна повествования Ливера? Отчасти, полагаю, в необычной серьезности отношения к болез­ни Потса. В прежние времена контраст между безумием и здо­ровой психикой казался комическим: Хогарт изображает, как светские люди целыми компаниями ходили в Бедлам, чтобы по­смеяться над умалишенными. Мне и самому демонстрировали деревенского дурачка как нечто потрясающе смешное. На сцене помешанный был когда-то штатной комической фигурой, пото­му-то Гамлет был уже готов, чтобы стать Гамлетом, еще до того, как Шекспир взялся за него. Оригинальность шекспиров­ской версии состоит в том, что он отнесся к помешанному с сочувствием, всерьез и таким образом приблизился к восточ­ному взгляду на безумие: как знать, не замаскированное ли это наитие, раз человек, у которого ума больше, чем у его ближних, для них такой же сумасшедший, как и тот, у кого ума меньше. Но для Пистоля и Пароля Шекспир не сделал того же, что он сделал для Гамлета. Тот тип безумца, который представляли они, тип романтического фантазера, оказался за пределами со­чувствия в литературе: его презирали и осмеивали здесь так же безжалостно, как и на востоке под именем Альнашара и не­сколько веков спустя неотвратимо осмеяли под именем Симона Таппертита. Если Сервантес сжалился над Дон Кихотом, а Диккенс над Пиквиком, то не от беспристрастности, а отто­го, что они перешли на их сторону и из прежних насмешников превратились в друзей и защитников.

С романом Ливера дело обстоит совсем по-другому. Там нет сострадания к Потсу, Поте так и не завоевывает нашей симпатии, как завоевывают ее Дон Кихот и Пиквик, у него нет даже безрассудной удали Таппертита. Но смеяться над По- щеом мы не рискуем, ибо каким-то образом узнаем в нем себя. Быть может, у нас, хотя бы у некоторых из нас, хватает стойкости, физической силы, везения, такта, или умения, или ловкости, или познаний для того, чтобы лучше, чем он, выпуты­ваться из обстоятельств: провести тех, кто видит его на­сквозь; очаровать Катинку, которая так безжалостно отвер­гает Потса в конце романа. Но при всем при том мы знаем, что Потc — важнейшая часть нас самих и мира и что социаль­ной проблемой является не проблема книжных героев старого образца, а проблема Потсов и того, как сделать из них людей. Возвращаясь к высказанному выше, мы испытываем такое чув­ство (и его никогда не рождают Альнашар, Пистоль, Пароль и Таппертит), словно Поте есть элемент подлинно научной естественной истории, а не просто развлекательной. Автор не бросает камня в существо другого, низшего разряда, нет, он пи­шет исповедь, и в результате камень основательно бьет каж­дого из нас по сознанию и больно задевает наше самоуважение. Поэтому-то книга Ливера и не пришлась читателям «Домашне­го чтения». Именно эта ссадина на чувстве достоинства и заставляет критиков поднимать крик про ибсенизм. Заверяю их, что ощущение это перешло ко мне от Ливера, а к нему, воз­можно, от Бейля или, по крайней мере, возникло из атмосферы книг Стендаля. Гипотезу об абсолютной оригинальности Ли­вера я исключаю, ибо человек так же не может быть абсо­лютно оригинальным, как не может дерево вырасти из воздуха.

Еще одно заблуждение относительно моих литературных предков возникает всякий раз, как я нарушу романтическую ус­ловность, основывающуюся на том, что все женщины ангелы, если они не дьяволы; что они красивее мужчин; что их роль в период ухаживания чисто пассивная и что женская фигура — самое совершенное произведение природы. Шопенгауэр написал желчное эссе, и поскольку его нельзя назвать ни вежливым, ни глубоким, оно, очевидно, задумано для того, чтобы нанести сногсшибательный удар этой галиматье. Широко цитировалась фраза, провозглашающая фетишизируемую форму уродливой. Английские критики фразу эту прочитали, и я утверждаю со всевозможной мягкостью, какая согласуется с этим утверждением, что глубже они и не копнули. Во всяком случае, стоит какому-нибудь английскому драматургу изобразить мо­лодую, достигшую брачного возраста женщину кем угодно, только не романтической героиней — и его ничтоже сумняшеся обзывают эпигоном Шопенгауэра. Мой случай особенно трудный, потому что, когда я заклинаю критиков, одержимых манией всюду усматривать влияние Шопенгауэра, помнить, что драматурги, как и скульпторы, берут своих персонажей из жиз­ни, а не из философских сочинений, критики со страстью возра­жают, что я не драматург и действующие льща в моих пьесах неживые. Пусть так, но я все равно имею право спросить их и спрашиваю: почему в таком случае, если уж им непременно нужно приписывать честь создания моих пьес какому-нибудь философу, то почему не приписать английскому? Задолго до то­го, как я прочел хоть одно слово из Шопенгауэра и даже не ве­дал, философ он или химик, возрождение социалистических идей в 80-е годы столкнуло меня в литературном и личном плане с Эрнестом Белфортом Бэксом, английским социалистом и ав­тором философских сочинений, чья трактовка современного фе­минизма могла бы вызвать романтический протест у самого Шопенгауэра или даже у Стриндберга. Честно говоря, шопен­гауэровские нападки па женщин, попавшие в поле моего зрения позднее, показались мне просто слабыми, настолько Бэкс при­учил меня к мужской (гомоистской) позиции и заставил уви­деть, до какой степени общественное мнение, а вследствие того суд и законодательство развращены феминистскими настрое­ниями.

В своих сочинениях Белфорт Бэкс не ограничивался жен­ским вопросом. Он еще и жестоко бичевал современную мораль. Другие авторы добивались сочувствия к сенсационным преступ­никам, выявляя так называемое «доброе начало в мире зла», но Бэкс представляет на суд читателей совершенно не сенсацион­ное, а вполне даже захудалое нарушение нашего торгового права и морали, и не просто защищает его с самым обескураживаю­щим простосердечием, но и всерьез доказывает, что всякий здравомыслящий человек просто обязан совершать эти наруше­ния и помешать ему может разве что боязнь судебного пресле­дования. Социалисты, люди по большей части до отвращения нравственные, были, естественно, шокированы. Но это их, по крайней мере, спасло от иллюзии, будто один только Ницше и бросал вызов нашей торгашеской христианской морали. Впервые имя Ницше я услыхал от немецкого математика мисс Борхардт, которая, прочтя мою «Квинтэссенцию ибсенизма», сказала мне, что сразу видно, кого я читал — Ницше, и именно «По ту сторону добра и зла». Заверяю, что до той поры я в ру­ках его не держал, а если бы и держал, то не мог бы им насла­диться в полной мере по недостаточному знанию немецкого.

Ницше, как и Шопенгауэр, опал в Англии жертвой одной своей много цитируемой фразы, содержащей выражение «бело­курая бестия». Это звучное словосочетание дало повод счи­тать, что Ницше заработал свою репутацию в Европе бессмыс­ленным прославлением позиции силы. Точно так же, основываясь на одном лишь слове «сверхчеловек» (Ubermensch), заимство­ванном мною у Нищие, заключают, что я вижу спасение обще­ства в деспотизме какого-то одного сверхчеловека наполеонов­ского толка, хотя уж как я стараюсь показать все безрассуд­ство этого устаревшего увлечения! Даже не столь оголтело поверхностные из критиков убеждены, будто современное вы­ступление против христианства как пагубной рабской морали было впервые предпринято Ницше. Однако это мнение было мне знакомо уже тогда, когда про Ницше я еще и слыхом не слы­хал. Покойный капитан Уилсон, автор нескольких странных памфлетов, пропагандист метафизической системы, называе­мой компрехенционизм, изобретатель термина «крестианство», введенного им для того, чтобы выделять реакционный элемент в христианском мире, тридцать лет тому назад на ди­скуссиях Общества диалектиков имел обыкновение обрушиваться на положения Нагорной проповеди, оправдывающие, по его мнению, трусость и рабскую покорность, которые разруши­тельно действуют на нашу волю, а следовательно на нашу честь и мужественность. Надо оговориться, что критика ка­питаном Уилсоном христианства с точки зрения морали не есть историческая теория, подобная теории Ницше, но эта ого­ворка не применима к Стюарту-Гленни, последователю Бокля, занимавшемуся, как и Бокль, историей философии. Стюарт- Гленни посвятил жизнь разработке и распространению своей теории, состоящей в том, что период христианства есть часть эпохи (вернее, часть недоразумения, поскольку настала эта эпоха всего 6000 лет до н. э. и уже заходит в тупик), на­чавшейся тогда, когда находившиеся в меньшинстве белые расы пришли к необходимости закрепить свою власть над цветными Расами с помощью духовенства; они возвели тяжкий труд и по­корность в этом мире в добродетель и в массовую религию, сделав из них не только средства достижения святости характе­ра» но и снискания себе награды на том свете. Таким образом, положение о морали рабов было сформулировано моим знакомым шотландским философом задолго до всей нашей болтовни о Ницше.

Поскольку Стюарт-Гленни вывел эволюцию общества из расовых противоречий, его теория произвела некоторую сенса­цию среди социалистов, иначе говоря — среди тех, кто един­ственно задумывался серьезно об исторической эволюции, тем более что она столкнулась с теорией классовых противоречий Карла Маркса. Ницше, как я понимаю, считал, что рабскую мо­раль придумали и навязали миру рабы, прикидывавшиеся сво­бодными в своих поступках и делавшие из рабства религию. Стюарт-Гленни же считал мораль рабов изобретением белой, высшей расы, которая желала подчинить душу низших рас, чтобы их эксплуатировать, боясь, что те своим числом унич­тожат ее, если душа их не будет приведена к покорности. По­скольку процесс этот еще не закончился и его можно непосред­ственно изучать в наших церковных школах и на примере борьбы между нынешними собственническими классами и пролетариа­том, а также по той роли, какую играет христианское миссио­нерство, старающееся заставить черные расы Африки смирить­ся с подчинением европейскому капитализму, — мы можем судить сами, исходит ли инициатива сверху или снизу.

Цель сего предисловия не исторический спор по поводу ис­торической точки зрения, а просто желание пристыдить наших театральных критиков, чтобы им неповадно было рассматри­вать Британию как интеллектуальную пустыню и неизменно предполагать, что любая философская идея, любая историче­ская концепция, любое порицание наших воспитательных, рели­гиозных и правовых заведений — либо иностранный товар, либо фантастическая шутка весьма сомнительного свойства, начи­сто не имеющая отношения ко всей совокупности накопленных идей. Убедительно прошу их помнить, что этот организм про­израстает очень медленно и очень редко цветет, и если есть на философском уровне такое понятие, как нечто само собой раз­умеющееся, то оно заключается в том, что каждый индиви­дуум вносит в этот комплекс лишь самый малый вклад. По су­ти дела, представление, что умные личности производят на свет законченные и оригинальные космогонические теории партеногенетическим путем, одним лишь напором присущего им «блеска», есть элемент невежественного легковерия, которое составляет горе честного философа и доставляет радость шарлатану от религии.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СВ. ЭНДРУ АНДЕРШАФТА

Именно это легковерие побуждает меня прийти на по­мощь моим критикам и разъяснить, что им писать о «Майоре Барбаре». В миллионере Андершафте я изобразил человека, ко­торый интеллектуально и духовно, а также практически по­стиг простую и неотразимую истину, которой мы все стра­шимся и от которой открещиваемся, а именно: величайшее зло нашего времени и худшее из наших преступлений — нищета, и поэтому наш первейший долг, во имя которого надо жертво­вать всеми другими соображениями, это не быть бедным. «Бедный, но честный», «почтенная бедность» и тому подобные выражения так же нестерпимы и аморальны, как выражения «пропойца, но милый», «мошенник, но отлично произносит по­слеобеденные спичи», «великолепный преступник» и тому подоб­ное. Безопасность — главное, на что претендует цивилизация,— немыслима там, где самая страшная из опасностей — угроза нищеты нависает у всех над головой и где пресловутая непри­косновенность личности есть лишь случайный результат нали­чия полиции, чье занятие фактически не защищать от насилия, а насильно заставлять бедняков взирать на то, как дети их умирают с голоду, в то время как бездельники обкармливают своих комнатных собачек, когда на эти же деньги могли бы на­кормить и одеть этих детей.

Чрезвычайно трудно заставить людей осознать, что зло есть зло. Например, мы хватаем человека и сознательно причи­няем ему вред, сажая, скажем, на несколько лет в тюрьму. Ка­залось бы, не требуется никакой исключительной ясности ума, чтобы усмотреть в этом поступке дьявольскую жестокость. Однако в Англии такое утверждение вызывает удивленный взгляд, а за ним разъяснение, что это не что иное, как наказа­ние или акт правосудия или еще что-нибудь такое же правильное, или же следует запальчивая попытка доказать, что нас всех ограбят и перережут в постелях, если не совершать та­ких безмозглых злодейств, как приговоры к тюремному заклю­чению. Бесполезно убеждать, что, если даже и так (а это не так), все равно добавление собственных преступлений к преступлениям, от которых мы страдаем сами, и смиренная покор­ность — не есть альтернатива. Ветрянка — зло. Но если бы я заявил, что мы должны либо смириться с ней, либо сурово подавить ее, хватая больных и наказывая их прививками черной оспы, я стал бы всеобщим посмешищем. И верно, хотя никто не станет отрицать, что в конечном счете ветрянку таким путем до некоторой степени приостановили бы, так как люди куда старательнее избегали бы заразиться ею, а заразившись, на­учились бы тщательно это скрывать и тем создавать видимость ее отсутствия, все же у людей хватило бы здравого смысла понять, что сознательное распространение черной оспы — не что иное, как зло, а следовательно, должно быть отвергнуто в пользу истинно гуманных санитарных мер.

Однако в совершенно аналогичном случае, когда человек проникает ко мне в дом и крадет бриллианты моей жены, от меня в обязательном порядке требуется украсть у него десять лет жизни, мучая его в продолжение всех этих лет. Если, пы­таясь отвести от себя это чудовищное возмездие, он меня за­стрелит, мои наследники его повесят.

Полицейская статистика показывает, что в конечном результате, зверски расправляясь с одним пойманным громилой, мы заставляем остальных принимать самые эффективные меры, чтобы не попасться, и таким образом вместо того, чтобы убе­речь бриллианты наших жен, намного понижаем наши шансы вообще вернуть их и увеличиваем шансы быть застреленными, доведись нам, на наше несчастье, застигнуть громилу на месте преступления.

И тем не менее бездумная аморальность, с какой мы щед­ро одаряем нравственных инвалидов и энергичных бунтовщиков приговорами — тюремное заключение, пытка одиночной камерой, голодом, топчаном, поркой, — ничто по сравнению с дурацким легкомыслием, с каким мы допускаем существование нищеты, как будто нищета то ли целебное тонизирующее средство для лентяев, то ли добродетель, которую следует приять с ра­достью, как приял ее св. Франциск. Раз человек ленится — пусть живет в нищете. Раз он пьет — пусть живет в нищете. Раз он низкого происхождения — пусть живет в нищете. Раз он тяго­теет к изящным искусствам или к чистой науке, а не к торгов­ле и финансам — пусть живет в нищете. Раз предпочитает тратить свои городские восемнадцать шиллингов в неделю или сельские тринадцать на пиво и семью, а не откладывать их на старость — пусть живет в нищете. Ничего не делайте для «не­достойного» — пусть живет в нищете. Так ему и надо! И в то же время — слегка непоследовательно — благословенны будь бед­няки!

Постойте, что же означает это «пусть живет в нище­те»? Означает — пусть будет слабым. Пусть будет невежественным. Пусть будет гнездилищем болезней. Пусть буде№ живым воплощением уродства и грязи. Пусть дети у него леют рахитом. Пусть он стоит дешево и пусть стягивает своей цены ближних, продаваясь, чтобы делать их работу!

Пусть его жилище превратит наши города в ядовитые скоп­ления трущоб. Пусть его дочери заражают наших юношей бо­лезнями улицы, а его сыновья мстят за него, вырастая золо­тушными, трусливыми, жестокими, лицемерными, политически слабоумными и порождая все другие плоды гнета и голодания, чем способствуют вырождению мужского начала страны. Пусть недостойный станет еще более недостойным, а до­стойный пусть накапливает для себя не райские сокровища в не­бесах, а адские ужасы на земле. А коли так, то умно ли оста­влять его в нищете? Не причинит ли он в десять раз меньше вреда в качестве преуспевающего громилы, поджигателя, на­сильника или убийцы, — доведенных до крайнего воплощения срав­нительно слаборазвитых тенденций человечества? Предполо­жим, мы упразднили бы все виды наказаний за подобного рода деятельность и порешили, что нищета — единственное, чего мы не потерпим, что всякого взрослого с годовым доходом меньше 365 фунтов надо безболезненно, но неумолимо убивать, каждого голодного полуголого ребенка насильно откармливать и оде­вать — не внесло ли бы это невероятного улучшения в суще­ствующую систему, которая уже изничтожила так много ци­вилизаций и заметно изничтожает тем же способом, нашу?

Есть ли зачатки такого законодательства в нашей парламентской системе? Пожалуй, да, только-только прореза­лись два ростка на политической почве, которые способны вырасти во что-то стоящее. Один — введение Минимальной Дозво­ленной Законом Заработной Платы. Другой — Пенсии по Старо­сти. Но можно бы ввести и кое-что получше. Сколько-то времени назад я упомянул о Всеобщих Пенсиях по Старости в разговоре с моим собратом-социалистом Кобден-Сандерсоном, известным виртуозом переплетного и печатного дела. «А по­чему уж тогда не всеобщие пожизненные пенсии?» — спросил он. Этими словами он одним махом разрешил индустриальный вопрос.

В наше время мы бессердечно говорим каждому граждани­ну — «Хочешь денег — заработай», как будто проблема иметь деньги или не иметь их касается только его одного. Мы даже не обеспечиваем ему возможности заработать их, напротив, мы допускаем, чтобы наша промышленность была организована в откровенной зависимости от «запасной армии безработных» и поддерживала ее в целях «эластичности». Самым разумным путем был бы кобден-сандерсоновский: предоставить каждому достаточно для прожития и тем застраховать общество от случаев злокачественной нищеты, но всенепременно проследить, чтобы каждый честно отработал все, что ему положено.

Андершафт, герой «Майора Барбары», постиг, что бед­ность есть преступление, и понимает, что, когда общество предлагает ему на выбор бедность или прибыльную торговлю смертью и разрушением, оно предлагает выбор не между преус­певающим злодейством и смиренной добродетелью, а между ак­тивной предприимчивостью и трусливым бесчестьем. Его пове­дение выдерживает испытание кантовским императивом, а поведение Питера Шерли не выдерживает. Питер Шерли — это тот, кого мы называем честный бедняк. Андершафт — тот, кого мы называем нечестивый богач. Шерли — Лазарь, Андер­шафт — бессердечный богач, у чьих ворот лежал Лазарь. Так вот, причина горестей мира в том, что большая часть людей поступает и думает, как Питер Шерли. Если бы они поступали и думали, как Андершафт, немедленным следствием явилась бы революция, несущая неисчислимые блага. Быть богатым, за­являет Андершафт, для меня дело чести, и ради этого я готов убивать, рискуя собственной жизнью. Эта готовность, по его словам, есть конечное испытание на искренность. Подобно сред­невековому герою Фруассара, понимавшему, что грабить и оби­рать — значит хорошо жить, Андершафт не находится в пле­ну всеобщего чувства ужаса перед убийством, ужаса, внушае­мого теми, кого иначе убили бы в первую очередь; он не считает нужным лебезить перед нищетой и покорностью, как это делают богачи и своевольные бездельники, которые желают грабить бедняков, не проявляя отваги, и помыкать ими, не про­являя чувства превосходства. Фруассаровский рыцарь, ставя перед собой задачу хорошо жить прежде всех других обязанно­стей, которые, приходя в столкновение с хорошей жизнью, пере­стают быть обязанностями и становятся чистым безобра­зием,— вел себя храбро, превосходно и в конечном счете гражданственно. Средневековое же общество, со своей сто­роны, вело себя, в сущности, очень плохо, организовав себя та­ким образом, что для хорошей жизни приходилось грабить и обирать. Будь современники рыцаря так же решительны, как он, грабеж и обирание стали бы кратчайшим путем на висели­цу, и, равным образом, будь мы столь же решительны и прони­цательны, как Андершафт, попытка жить с помощью так на­зываемого солидного дохода стала бы кратчайшим путем к камере смертников. Но так как благодаря нашему политиче­скому тупоумию и личной трусости (и то и другое — плоды ни­щеты) наилучшая имитация хорошей жизни, нам доступной, это жизнь с помощью как раз солидного дохода, то все здра­вомыслящие люди стараются обеспечить себе этот доход, вся­чески заботясь о том, чтобы сделать законными и нравственными и доход, и действия, и чувства, к нему ведущие и поддерживающие его как установление. А что еще они могут еде гать? Они, безусловно, знают, что богаты потому, что дру­гие бедны. Но изменить этого они не в силах: дело самих бедня­ков отказаться от бедности, когда они ею сыты по горло. Сде­лать это достаточно легко: вся аргументация, доказывающая обратное, которую приводят экономисты, юристы, моралисты и сентименталисты, нанимаемые богачами за деньги для за­щиты своих прав или даже совершающие свою работу безвоз­мездно, по глупости и пресмыкательству,—аргументация эта обманывает только тех, кто хочет быть обманутым.

Причина, по которой налогоплательщики с солидным дохо­дом не в состоянии с уверенностью защищать свое положение, состоит в том, что мы не средневековые бродяги, шатающиеся по редконаселенной стране, и нищета тех, кого мы грабим, ме­шает нам вести хорошую жизнь, ради которой мы приносим их в жертву. Богачи или аристократы с острым ощущением жиз­ни — такие, как Раскин, Уильям Моррис и Кропоткин, — обла­дают непомерными общественными аппетитами и очень приве­редливыми личными вкусами. Им мало красивых домов — им подавай красивые города. Им мало того, что жены их увешаны бриллиантами, а дочери цветут, — они жалуются на то, что поденщица плохо одета, от прачки несет джином, белошвейка малокровна, не каждый встречный мужчина им друг, а не каж­дая женщина — любовница. Они зажимают носы, недовольные канализацией у соседа, и заболевают от того, что их не устраивает архитектура соседского дома. Товары широкого по­требления, рассчитанные на вульгарного покупателя, им не по вкусу (а где взять другие?), они не могут ни спать, ни сидеть с комфортом на мебели, купленной по низкой цене у мелкого краснодеревщика. И воздух-то им не нравится — слишком дым­ный. В довершение всего, они требуют всяких абстрактных ус­ловий: справедливости, чести, благородной нравственной атмо­сферы, мистических уз взамен денежных отношений. И наконец, они заявляют, что грабить и обирать собственными руками, сидя верхом на лошади, в стальной кольчуге, может быть, и ве­дет к хорошей жизни, но грабить и обирать руками полицейского. судебного исполнителя и солдата, да притом еще оплачи­вать их труд так низко — это не только не приводит к хорошей жизни, но отрезает всякую возможность хотя бы сносного су­ществования. Они начинают призывать бедняков к бунту, а когда те приходят в ужас от их неджентльменского поведения, то с отчаяния принимаются бранить пролетариев за «проклятое отсутствие потребностей» (verdammte Bedurfnislosigkeit).

До сих пор, однако, их нападкам на общество недоставало простоты. Бедняки не разделяют их вкусов, не понимают их критического отношения к искусствам. Им не нужна ни про­стая жизнь, ни эстетическая. Наоборот, они мечтают именно о тех дорогостоящих вульгарных наслаждениях, от которых избранные души богачей отворачиваются с содроганием. Изле­читься от своей тоски по вредоносным сладостям бедняки смо­гут, только объевшись ими, а никак не путем воздержания. А ненавидят и презирают они — нищету. Только ее они стыдят­ся. Предлагать им бороться за разницу между рождествен­ским выпуском «Илластрейтед Лондон Ньюс» и келмзкотовским изданием Чосера донельзя глупо: они все равно предпочитают «Ньюс». Разница между дешевой грязной накрахмаленной белой рубашкой на биржевом маклере и сравнительно дорогой велико­лепного качества голубой рубашкой Уильяма Морриса так позо­рит Морриса в их глазах, что если они и будут за что-нибудь в этой связи бороться, так за крахмал. «Бросьте быть рабами и станьте юродивыми» — не слишком вдохновляющий призыв к оружию. И дела не поправишь, даже если заменить «юро­дивых» на «святых». Оба слова подразумевают гениев, а про­стой человек вовсе не хочет жить жизнью гения. Если уж вы­бирать, он выберет жизнь болонки. Но главное, простой человек хочет больше денег. Что-что, а это он знает твердо. То ли еще он предпочтёт «Майора Барбару» пантомиме в «Друри-Лейи», то ли нет, но пятьсот фунтов для него всегда желаннее пятисот шиллингов.

Так вот, сокрушаться по поводу такого предпочтения, считать его низменным, учить детей тому, что желать денег грешно, значит дойти до беспредельного бесстыдства в лжи и не знающего удержу лицемерия. Всеобщее уважение к деньгам можно считать единственной обнадеживающей чертой нашей цивилизации, единственным светлым пятном в нашем обще­ственном сознании.

Деньги — это самая главная на свете вещь. Деньги озна­чают здоровье, силу, честь, щедрость и красоту так же явно и неоспоримо, как отсутствие их означает болезни, слабость, позор, подлость и уродливость. И не последним из достоинств денег является то, что они всенепременно уничтожают людей низких и укрепляют и еще больше облагораживают людей до­стойных. Лишь с тех случаях, когда деньги теряют всякую це­пу в глазах одних и превращаются в ненаглядное сокровище в глазах других, они становятся проклятьем. Короче говоря, они проклятье тогда, когда нелепые социальные условия делают проклятьем саму жизнь. Ибо неразрывно связаны два фактора: деньги есть механизм, обуславливающий социальное регулирова­ние жизни, и они же и есть жизнь; это так же верно, как то, что соверены и банковские билеты суть деньги.

Первейший долг каждого гражданина требовать денег на разумных основаниях, и требование это не удовлетворяется тем что четверым дают по три шиллинга за десяти-двенадцатичасовую работу, а одному десять тысяч ни за что ни про что. Нация нуждается прежде всего не в более совершенной мо­рали, не в более дешевом хлебе, не в воздержании, свободе, куль­туре, обращении падших сестер и заблудших братьев, не в мило­сердии, любви и поддержке святой троицы, а просто в достаточном количестве денег. И зло, с которым нужно ве­сти борьбу, это не грех, не страдание, жадность, интриги духовенства, королевская деспотия, демагогия, монополия, не­вежество, пьянство, война, чума или любой другой козел отпущения, приносимый в жертву реформаторами, а нищета.

Отведите глаза от недосягаемой дали и обратите их на реальность, находящуюся у вас под носом, и тогда мировоззре­ние Эндру Андершафта нисколько не будет вас смущать. Разве что вам будет непривычно не покидающее его ощущение, что он всего-навсего орудие Воли или Жизненной Силы, использующей его в целях более широких, нежели его собственные. Но это произойдет оттого, чпю вы либо блуждаете в искусственной дарвинистской тьме, либо увязли в собственной глупости. Все подлинно религиозные люди испытывают такое же ощущение, как Андершафт. Для них загадочный Андершафт вполне вня­тен, а его полное понимание психологии своей дочери, майора Армии спасения, и ее жениха, республиканца по Еврипиду, ка­жется им естественным и неизбежным. Это, однако, не ново даже на сцене. А нов, насколько мне известно, тот догмат в религии Андершафта, согласно которому Деньги — первейшая необходимость, а Нищета — гнуснейший грех человека и об­щества.

Эта острая концепция возникла, конечно, не per saltum.[3] И заимствована она не у Ницше и не у любого другого человека, Родившегося по ту сторону Ламанша. Покойный Сэмюэл Батлер, величайший в свой области английский писатель второй по­ловины девятнадцатого века, неуклонно внедрял в религию необ­ходимость и нравственность добросовестного лаодикианизма и постоянного серьезного осознания важности денег. Буквально теряешь веру в английскую литературу, когда видишь, какой слабый след оставило такое замечательное исследование английской жизни, как вышедший посмертно батя еров с кий роман «Путь всякой плоти»; такой слабый след, что когда теперь, не­сколько лет спустя, я выпускаю в свет пьесы, в которых неос­поримо видно влияние батлеровских поразительно свежих, сво­бодных и провидческих идей, я сталкиваюсь с невнятной болтовней насчет Ибсена и Ницше, и спасибо еще, не насчет Альфреда Мюссе и Жорж Санд. Право, англичане не заслужи­вают своих великих людей. Они допустили, чтобы Батлер умер фактически в безвестности, тогда как мне, сравнительно мало­заметному ирландскому журналисту, удалось заставить так меня разрекламировать, что жизнь моя превратилась в тяж­кое бремя. В Сицилии есть улица via Samuele Butler. Английский турист при виде ее спрашивает: «Что еще за Сэмюэл Батлер?» — или же недоумевает, с чего сицилийцам пришло в голову увековечить память автора «Гудибраса».

Не приходится, правда, отрицать, что англичане с охо­той признают в гении гения, если кто-нибудь позаботится ука­зать им на него. Указав не без успеха на себя самого, я теперь указываю на Сэмюэла Батлера и хочу надеяться, что в даль­нейшем пореже буду слышать о новизне и заморском происхо­ждении мыслей, которые нынче пробивают себе дорогу в англий­ский театр с помощью пьес, написанных социалистами. И сейчас есть люди, чья оригинальность и возможности не ме­нее очевидны, чем батлеровские, и когда они умрут, мир о них узнает.

А пока я советую им настаивать на своих заслугах и счи­тать это важным элементом своей профессиональной деятель­ности.

АРМИЯ СПАСЕНИЯ

Когда «Майора Барбару» поставили в Лондоне, одна влия­тельная северная газета сочла второй акт испепеляющей ата­кой на Армию спасения, а вырвавшееся в отчаянии у Барбары во­склицание о том, что бог ее оставил, ежедневно осуждалось Лондоном как бестактное кощунство. Выйти из этого заблу­ждения помогли не профессиональные театральные критики, а публицисты на религиозные и философские темы, вроде сэра Оливера Лоджа и доктора Стэнтона Койта, а также рьяные нонконформистские журналисты типа Уильяма Стэда; они не только поняли пьесу и самих членов Армии спасения, но и увидели ее связь с религиозной жизнью нации, с жизнью, которая, ка­жется, находится вне сферы симпатий многих наших театральных критиков, да и, по существу, вне сферы знаний об обществе.

И в самом деле, что могло быть смехотворнее и курьез­нее той конфронтации, какую вызвала «Майор Барбара» среди театральных и религиозных фанатиков: с одной стороны, теа­трал, вечно гоняющийся за удовольствиями, платящий за них непомерные деньги, терпящий немыслимые мучения и почти ни­когда не получающий того, чего хочет. С другой стороны, член Армии спасения: он отвергает развлечения, ищет труда и лише­ний, однако неизменно пребывает в приподнятом настроении, любит смеяться, шутить, ликовать, бить в барабан и тамбу­рин,— жизнь его пролетает в единой вспышке возбуждения, и смерть мыслится им как высшая точка торжества. И вот театрал, с вашего позволения, презирает члена Армии спасения как унылое существо, отрезанное от театрального рая, обрек­шее себя на жизнь среди беспросветного мрака, а член Армии спасения оплакивает театрала как пропащее создание с вино­градными листьями в волосах, мчащееся очертя голову прямо в ад среди хлопанья пробок шампанского и непристойного смеха сирен! Может ли непонимание быть более законченным или со­страдание до такой степени направленным не по адресу?

К счастью, членам Армии спасения более, чем театралам, доступен религиозный смысл драмы — веселая энергия и арти­стичная плодотворность религии. Члены Армии спасения понимают, когда им растолкуешь, что театр, то есть место, где собирается более одного человека, приобретает от божествен­ного прикосновения неотъемлемую святость и грубейший и нечестивейший фарс так же не может лишить театр этой свято­сти, как не может осквернить Вестминстерское аббатство ли­цемерная проповедь чванливого епископа. Но у наших профессио­нальных театралов эта незаменимая и все предваряющая идея святости отсутствует. Они рассматривают актеров как мимов и фигляров и, боюсь, воображают драматургов лжецами и сводниками, чье главное занятие — доставлять чувственное услаждение усталому биржевому дельцу, когда его так назы­ваемые важные дневные труды окончены.

Страсть, суть драмы, они воспринимают лишь как прими­тивное сексуальное возбуждение; такие выражения, как «пыл­кая поэзия» или «страстная любовь к истине», совершенно выпали из их словаря, их заменило «преступление по страсти» и тому подобное. Они, как я понимаю, полагают, что люди со страстями в широком понимании этого слова бесстрастны и потому не заслуживают интереса. Отсюда привычка смо­треть на людей религиозных как на неинтересных и незанимательных. И поэтому, когда Барбара отпускает армейско-спаси­тельные шуточки и целует своего возлюбленного, перегнувшись через барабан, поклонники театра считают своим долгом выра­зить, как они шокированы, и заключают, что вся пьеса есть продуманное издевательство над Армией спасения. И тогда они либо ханжески осуждают меня, либо имеют глупость принять участие в предполагаемом издевательстве!

Даже горстка умственно полноценных критиков доста­точно поломала себе головы над моим изображением экономиче­ского тупика, в котором очутилась Армия спасения. Одни вы­сказывали мнение, что Армия не взяла бы денег у винокура и фабриканта оружия; другие — что не должна была брать, и все более или менее решительно сошлись на том, что, беря эти деньги, Армия обнаруживает свою несерьезность и лицеме­рие. Ответ самой Армии был скор и недвусмыслен: как заявил один из ее офицеров, они взяли бы деньги у самого Дьявола и только радовались бы, что отняли их у него и передали в руки Господа. Они с благодарностью удостоверили, что содержатели баров не только дают им деньги, но и разрешают собирать их прямо в баре, и порой это происходит в то самое время, как на улице перед баром Армия спасения проповедует трезвость. Они, собственно, и усомнились-то в правдоподобии пьесы не потому, что миссис Бэйнс взяла деньги, а потому, что Барбара отказа­лась их взять.

Мысль, что Армия не должна брать такие деньги, особых доказательств не требует. Ей приходится брать, так как без денег ей не просуществовать, а больше их взять неоткуда. Фак­тически все свободные деньги в стране представляют собой смесь ренты, доли в доходах и прибыли, и каждый пенни так же неразрывно связан с преступлением, пьянством, проституцией, болезнями и всеми прочими ядовитыми плодами нищеты, как и с предпринимательством, богатством, коммерческой чест­ностью и национальным процветанием. Представление, будто отдельные монеты можно пометить как. нечистые,— наивное индивидуалистское заблуждение. И тем не менее тот факт, что все наши деньги являются нечистыми, тяжело ранит серь­езные юные души, если какой-нибудь случай наглядно демон­стрирует им эту грязь. Когда восторженный молодой священ­ник господствующей церкви впервые узнает, что церковные старосты получают свою долю дохода с баров, где процветают азартные игры, публичных домов и кабаков или что самым щедрым пожертвователем на его последней проповеди о благо­творительности оказался наниматель, так же бессовестно на­живающийся на женском труде, удешевленном проституцией, как бессовестно наживается хозяин гостиницы на труде офи­циантов, удешевленном чаевыми, или труде рассыльных, удешев­ленном подачками; или что единственный патрон, способный отремонтировать церковь или школы его прихода или предоста­вить ученикам гимнастический зал или библиотеку, это зять чикагского мясного короля,— в таких случаях молодой священ­ник, как и Барбара, переживает скверные четверть часа. Но он не может позволить себе принимать деньги исключительно от симпатичных старушек с солидным доходом и ангельским обра­зом жизни.

Пусть-ка он проследит промышленные источники дохода этаких симпатичных старушек — он непременно обнаружит на другом конце профессию миссис Уоррен, и несъедобные мясные консервы, и прочее в том же духе. Его собственное жалованье имеет то же происхождение. Либо ему придется разделить всеобщую вину, либо подыскать себе другую планету. Он дол­жен спасти честь мира, если он желает сберечь свою. То же самое обнаруживают все церкви, и то же, в пьесе, обнаружили Армия спасения и Барбара. Открытие Барбары, что она со­участница отца, что Армия спасения — соучастница винокура и фабриканта оружия, что обойтись без этого нельзя, как нель­зя обойтись без воздуха; открытие, что спастись через личную праведность невозможно, а путь к спасению лежит только че­рез избавление всей нации от порочной, ленивой, основанной на конкуренции анархии, — это открытие сделали все, кроме фари­сеев и, по всей видимости, профессиональных театралов. По­следние все так же носят те самые рубашки, о которых писал Томас Худ, и не доплачивают своим прачкам, и у них при этом не возникает ни малейшего сомнения относительно возвышенно­сти своей души, чистоты своей индивидуальной атмосферы и соб­ственного права отмести, как нечто чуждое, грубую развра­щенность мансарды и трущоб. Ничего худого они этим не хотят сказать, просто им очень хочется быть по-своему, по- чистоплюйски, джентльменами. Урок, полученный Барбарой, им ничего не дает, потому что, в отличие от нее, получили они его не в результате участия в общей жизни страны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БАРБАРЫ В СТРОЙ

Возвращение Барбары в строй может еще составить тему для исторического драматурга будущего. Вернуться в Армию Спасения, зная, что даже члены Армии пока не спаслись, что нищета не благодать, а мерзейший из грехов, что, выбирая в качестве эмблемы для Армии спасения Кровь и Огонь, а не Крест, генерал Бут, может быть, сам того не ведая, действо­вал по наитию свыше, — что-то да значит. И то, что все это знает дочь Эндру Андершафта, сулит перспективы получше, чем раздача хлеба и патоки за счет Боджера.

Как показателен этот инстинктивный выбор военного ти­па организации, эта замена органа барабаном. Не говорит ли это о прозрении членов Армии спасения, догадывающихся, что нужно в полном смысле слова сражаться с Дьяволом, а не про­сто обращать против него молитвы. Правда, пока они еще не совсем выяснили его точный адрес. Но уж когда выяснят, то могут сильно расшатать чувство безопасности, выработавшее­ся у Дьявола на основе опыта: он привык, что бранные слова вре­да не причиняют, даже если они произносятся красноречивыми эссеистами и лекторами или единодушно звучат на публичных митингах, где горячо обсуждаются предложения выдающихся реформаторов. Принято считать, что французская револю­ция — дело рук Вольтера, Руссо и энциклопедистов. Мне она представляется делом рук людей, которые пришли к выводу, что добродетельное негодование, язвительная критика, убеди­тельная аргументация и писание назидательных брошюр, даже когда все это исходит от серьезнейших и остроумнейших лите­ратурных гениев, так же бесполезны, как и молитвы. Ибо дела шли все хуже да хуже, хотя «Общественный договор» и пам­флеты Вольтера находились в зените славы. В конце концов, как нам известно, вполне почтенные горожане и ревностные филан­тропы попустительствовали сентябрьским убийствам, так как на опыте успели убедиться, что, если они удовлетворятся при­зывами к гуманности и патриотизму, аристократы, хоть и прочтут их призывы с величайшим удовольствием, высоко оце­нят, расхвалят авторов и выразят восторг, все равно не пре­кратят сговоров с иностранными монархистами, имея целью задушить революцию и восстановить прежнюю систему со все­ми сопутствующими явлениями варварской мести и безжалост­ного подавления народных свобод.

Тот же урок в девятнадцатом веке был повторен в Ан­глии. Девятнадцатый век повидал утилитаристов, христиан­ских социалистов, фабианцев (сохранившихся до наших дней); увидел Бентама, Милля, Диккенса, Раскина, Карлейля, Батлера, Генри Джорджа и Морриса. А в результате всех их усилий мы имеем Чикаго, описанный мистером Эптоном Синклером, и Лондон, где люди, которые платят деньги за возможность развлечься на моем спектакле созерцанием Питера Шерли, вы­гнанного на улицу умирать с голоду в сорок лет, потому что на его место можно взять за те же деньги более молодых ра­бов — люди эти не принимают и вовсе не собираются прини­мать никаких мер для организации общества таким образом, чтобы отменить этот каждодневный позор. Я, проповедовав­ший и писавший памфлеты, как всякий энциклопедист, спешу признаться, что мои методы не дают никакого результата и не дали бы, будь я даже Вольтер, Руссо, Бентам, Маркс, Милль, Диккенс, Карлейль, Раскин, Батлер и Моррис вместе взятые, даже если бы прикинуть еще Еврипида, Мора, Монтеня, Мольера, Бомарше, Свифта, Гете, Ибсена, Толстого, Иисуса и пророков (а в каком-то смысле все они и есть я, поскольку я стою на их плечах). Имея перед собой задачу сделать из тру­сов героев, мы, апостолы бумаги и искусные чародеи, преуспели только в том, что придали трусам все чувства героев. Но тер­пят-то они любую мерзость, приемлют любой грабеж, поко­ряются любому давлению. Христианство, возведя покорность в достоинство, лишь отметило в бездне ту глубину, на которой теряется само понятие стыда. Христианин подобен диккенсов­скому врачу в долговой тюрьме, расписывающему новичку ее не­выразимый покой и надежность: ни тебе кредиторов, ни деспо­тичных сборщиков налогов, ни арендной платы; ни тебе назойливых надежд, ни обременительных обязанностей — ниче­го, кроме отдохновения и надежной уверенности, что ниже пасть некуда.

И вдруг в самом жалком уголке этого христианского ми­ра, разлагающего душу, снова возрождается жизнь. Умение ра­доваться, этот священный дар, давно свергнутый с престола адским хохотом издевательств и непристойностей, внезапно, как по волшебству, начинает бить ключом из зловонной пыли и грязи трущоб; бодрые марши и пылкие хвалы воссылаются к небесам людьми, в чьей среде нагоняющий тоску шум, назы­ваемый духовной музыкой, служит обычно объектом насмешек. Разворачивается флаг с эмблемой «Кровь и Огонь» не в знак кровожадной мести, а потому, что огонь — это красиво, а кровь имеет великолепный животворный красный цвет; страх, который мы льстиво именуем нашим «я», пропадает, и преобра­женные мужчины и женщины несут свою веру сквозь преображенный мир, именуя своего вождя генералом, себя капитанами и бригадирами и организацию в целом Армией. Они молятся, но - молятся лишь о восстановлении и прибавлении сил для борьбы и насущных деньгах (примечательный факт); они проповедуют, но не покорность; они готовы к дурному обращению и поноше­нию, но принимают их не в большей степени, чем это неизбежно, и занимаются тем, чем дает им заниматься мир, включая воду и мыло, краски и музыку. В таких занятиях таится опас­ность, а где есть опасность, там есть надежда. Нынешняя на­ша безопасность — одно название, она не что иное, как зло, ставшее неодолимым.

НЕДОСТАТКИ АРМИИ СПАСЕНИЯ

Я, однако, не собираюсь льстить Армии спасения. Более того, я хочу указать ей на недостатки, которых у нее почти столько же, сколько у англиканской церкви. Армия строит дело­вую организацию, которая, в конечном счете, приведет к тому, что теперешний штат командиров-энтузиастов сменится бю­рократией из деловых людей и те окажутся ничуть не лучше епископов, а может быть и еще беспринципнее. Такая вещь всег­да рано или поздно случалась с великими орденами, основанными разными свитыми, и орден, основанный св. Уильямом Бутом, не свободен от той же опасности. Он даже еще больше, чем церковь, зависит от богачей, которые возьмут да и прекратят вы­плачивать содержание Армии спасения, начни она проповедовать тот обязательный бунт против нищеты, который неизбежно становится бунтом против богатства. Ему противодействует сильный контингент благочестивых старейшин, которые ника­кие не члены Армии спасения, а евангелисты старой школы. Они, по утверждению комиссара Говарда, до сегодняшнего дня «придерживаются Моисея», что в наше время сущий абсурд, ес­ли только Говард имеет в виду (а боюсь, он имеет в виду имен­но это), что Книга Бытия содержит достоверное научное опи­сание происхождения видов и что бог, которому принес в жертву свою дочь Иефай, не менее ярко выраженное языче­ское божество, чем Дагон или Хамос.

Далее, в Армии спасения все еще многовато потусторон­ности. Подобно фридриховскому гренадеру, член Армии спасения хочет жить вечно (наиболее вопиюще нелепый вид несбыточных мечтаний). И хотя всякому, кто хоть раз слыхал выступления генерала Бута и его лучших офицеров, ясно, что они трудились бы с не меньшим энтузиазмом ради спасения человечества, да­же если бы думали, что смерть означает конец для них как ин­дивидуальностей, они и их последователи отличаются дурной привычкой говорить о членах Армии так, будто те героически влачат тяжелейшее существование на земле, как бы делая тем самым вклад, который дает впоследствии проценты не в виде более хорошей жизни всего человечества, а в виде вечности, про­водимой ими персонально в состоянии блаженства, которое уморило бы вторично любого активного человека. Безусловно одно: члены Армии спасения — люди необыкновенно счастливые. Я разве не является характерной чертой истинно спасшегося преодоление страха смерти? Но вот человек, уверовавший в то, что смерти как таковой нет, что изменение под этим назва­нием есть переход к неизъяснимо счастливой и абсолютно безза­ветной жизни, вовсе не преодолел страха смерти, напротив, страх одолел его с такой силой, что он вообще не желает уми­рать ни при каких условиях. Я сочту члена Армии спасения спас­шимся только тогда, когда он, уплатив все свои долги, согласится в любой момент радостно возлечь на кучу мусора в надежде на то, что его вечная жизнь потечет дальше к своему обновлению в батальонах будущего.

Кроме того, существует гадкий лживый обычай, име­нуемый исповедью; Армия поощряет его, так как он использует драматическое красноречие и всяческие волнующие эффекты. Что касается меня, то, когда я слышу, как новообращенный перечисляет те скверные поступки, клятвопреступления и ко­щунства, в которых он был повинен до того, как спасся, желая доказать, какой он был отъявленный мерзавец тогда и какой те­перь он раскаявшийся и очистившийся христианин, я верю ему не больше, чем миллионеру с его россказнями про то, как он при­был в Лондон или в Чикаго мальчуганом с тремя пенсами в кар­мане. Члены Армии спасения уверяли меня, что моя Барбара ни­когда не попалась бы на удочку такому явно выраженному обманщику, как Снобби Прайс; да я и сам убежден, что Снобби не удалось бы обмануть ни одного опытного члена Армии спасе­ния без его на то желания. Но что касается обращения, то тут все члены Армии спасения жаждут быть обманутыми, ибо, чем очевиднее грешник, тем более очевидным делается чудо его обращения. Когда вы рекламируете новообращенного взлом­щика или исправившегося пьяницу в качестве одного из аттрак­ционов на очередном собрании, вряд ли ваш взломщик или ваш пьяница такие уж из ряда вон выходящие. Пока будут полагаться на подобные аттракционы, ваши Снобби станут утвер­ждать, будто они избивают своих матерей, хотя на самом деле матери обычно избивают их самих, а пьянчужки, отличающиеся кротостью и порядочностью, будут претендовать на беспримерное и великолепное в своей порочности про­шлое. Даже когда исповедь носит искренний автобиографичный характер, неосторожно было бы предполагать, что исповедь вызвана благочестивым побуждением или что интерес слушателя имеет доброкачественный оттенок. С таким же успехом можно предполагать, что бедняки, настойчиво демонстрирующие гнойные язвы районным обследователям, — убежденные сторонники гигиены или что жадное любопытство, с каким по­рой откликаются на такое зрелище, делает честь любопыт­ствующему и носит здоровый характер. Зачастую я испытываю большое искушение предложить, чтобы тех, кто докучает на­шим полицейским чинам признаниями в совершенных убийствах, ловили бы на слове и казнили, так было бы благоразумнее; ред­кие исключения составили бы те, кто жаждет облегчить свою душу, покаявшись в совершенном грехе. Я не считаю себя крово­жадной личностью, но все же, по моему убеждению, не следует прикрывать жестокость содеянного с помощью какого бы то ни было ритуала, будь то в исповедальне или на эшафоте.

И вот тут-то мои разногласия с Армией спасения и со всеми пропагандистами Распятия {а я не выношу его, как не вы­ношу все виды орудий казни) становятся поистине глубокими. Прощение, отпущение, искупление — всего лишь фикции. Наказа­ние — лишь способ вытеснить одно преступление другим; проще­ния без мстительных чувств не бывает, так же как не бывает лечения без болезней. Высокой нравственности не добиться от людей, которые воображают, будто их преступления подле­жат отмене и прощению в обществе, где отпущение и искупле­ние для всех нас официально обеспечено. Потребность в них, быть может, и неподдельна, но удовлетворение их насквозь фальшиво. Так, Билл Уокер в моей пьесе, оскорбив действием девчушку из Армии спасения, очень скоро в результате умелого подхода Барбары начинает мучиться от невыносимого сознания вины. Он тут же старается взять назад нанесенную им обиду, загладить свой безобразный поступок, сперва попытавшись полу­чить по заслугам той же монетой, а когда ему в этом облегче­нии отказывают, он штрафует себя на фунт, чтобы как-то возместить девушке нанесенный ей урон. И в том, и в другом случае он терпит неудачу, обнаружив, что Армия спасения не­умолима, как неумолим факт. Она не хочет наказывать его, не хочет брать у него денег. Ей не нужен исправившийся негодяй, она не оставляет ему иных средств к спасению, как только перестать быть негодяем. Поступая так, Армия спасения про­являет интуитивное постижение главной черты христианства и отвергает главный его предрассудок: главная черта состоит в кичливости отмщения и наказания, а главный предрассудок в спасении мира посредством виселицы.

Ведь, разрешите заметить, Билл ударил также голодную старуху, но по поводу этого более тяжкого проступка он ника­ких угрызений не испытывает, потому что она отнюдь не скры­вает, что ее злонамеренность не уступает его собственной. «Пускай судится со мной, как грозилась, — говорит Билл.— Чтоб из-за нее меня совесть мучила — да ничего подобного, мне это все равно что свинью приколоть». Рассуждение совершенно нормальное и здравое. Старуха, как и закон, которым она ему угрожает, вполне готова играть в игру «возмездие»: ограбить его, если он украдет, избить, если он ударит, прикончить его, если он убьет. Путем примера и наставления закон и обще­ственное мнение учат его навязывать свою волю другим с по­мощью злобы, насилия и жестокости и стирать моральный счет наказанием. Это и есть здоровое крестианство. Но оно смешивается с тем, что Барбара называет христианством и что неожиданно заставляет ее отказаться играть в палача и изгнание сатаны сатаной. Она отказывается преследовать пьяного негодяя; она на равных беседует с мерзавцем, с ко­торым благовоспитанной даме не полагалось бы разговаривать на виду у всех, короче говоря, она подражает Христу. Совесть Билла, естественно, реагирует на это в точности так же, как на угрозы старухи. Он поставлен в положение невыносимо уни­зительное, и он всеми имеющимися в его распоряжении способа­ми стремится восстановить душевное равновесие, при этом он по-прежнему готов ответить на брань старухи, заехав ей по физиономии кружкой. И таким образом подтверждается пра­вота христианства Барбары по сравнению с нашей системой су­дебного наказания и мстительной расправы со злодеем, а так­же по сравнению с идеальной справедливостью романтического театра.

К чести литературы надо сказать, что ситуация эта нова лишь отчасти. Виктор Гюго давно представил нам эпопею о каторжнике и тископских подсвечниках, о полицейском-крес- тианине, погубленном встречей с христианином Вальжаном. Но Билл Уокер, в отличие от Вальжана, не превращается роман­тическим образом из демона в ангела. Сегодня у нас миллионы Биллов Уокеров во всех классах общества, и я, как профессор натуррпсихологии, хочу указать на тот факт, что Билл без всяких изменений в своем характере или в обстоятельствах бу- дет совсем по-разному реагировать на разного рода подходы.

В доказательство могу привести такой наглядный пример: наши сегодняшние промышленники-миллионеры начинают как разбойники, они безжалостно и бессовестно сеют банкротство, смерть и рабство среди своих конкурентов и среди рабочих, рискуя, что конкуренты ответят им тем же. История английских фабрик, американских трестов, разработка африканского золота, алмазов, слоновой кости и каучука затмевают по злодейству все, что мы слыхали про пиратов испанских морей. Капитан Кидд высадил бы на необитаемый остров современного трестовского магната за поведение, недостойное джентльмена удачи. Закон ежедневно хватает неудачливых мерзавцев такого типа и наказует их с жестокостью, превосходящей их соб­ственную, и в результате те выходят из камеры пыток еще опаснее, чем вошли, и возобновляют свою преступную деятель­ность (потому что до другой их никто не допустит), пока их снова не схватят, не промучают в тюрьмах и опять не отпу­стят с тем же эффектом.

Зато с удачливым мерзавцем поступают совсем по-другому и очень по-христиански. Его не только прощают — ему по­клоняются, его почитают, с ним носятся, только что не бо­готворят. Общество платит ему сторицей с непомерной щедростью. А к чему это приводит? Он начинает почитать се­бя, поклоняться себе, жить соответственно тому мерилу, с каким подходят к нему. Он поучает, пишет назидательные книги, обращенные к молодым людям, и в конце концов убе­ждает себя, что преуспел исключительно благодаря себе само­му. Он финансирует образовательные заведения, поддерживает благотворительные учреждения и, наконец, умирает, окру­женный ореолом святости, оставляя завещание, которое мо­жет служить памятником щедрости и заботы об обществен­ном благе. И все это без малейших изменений в своем характере. Пятна леопарда и полосы тигра сверкают, как всег­да, но поведение мира по отношению к нему изменилось. И со­ответственно изменилось его поведение. Но стоит только из­менить свое отношение к нему, посягнуть на его собствен­ность, начать оскорблять его, угрожать ему — и он в миг опять превратится в разбойника, готового сокрушить вас, как готовы сокрушить его вы, и тоже вооруженный вымышленны­ми основаниями морального порядка.

Короче говоря, когда майор Барбара говорит, что нет не­годяев, она права: абсолютных негодяев не бывает, но есть лю­ди неподатливые, и сейчас я перейду к ним. Каждый разумный мужчина (то же можно сказать и о женщинах) является по­тенциальным негодяем и потенциальным примерным граждани­ном. Что представляет собой человек — зависит от его харак­тера, но что он делает и что мы о его деятельности думаем — зависит от обстоятельств, в которые он попадает. Те же черты, которые губят человека из одного класса, выно­сят наверх человека из другого класса. Характеры, проявляю­щие себя по-разному в разных обстоятельствах, проявляют се­бя одинаково в одинаковых. Возьмите, например, такой обыкно­венный английский характер, как Билл Уокер. Мы встречаем Билла повсюду: в судейском кресле, на епископской скамье, в тайном совете, в военном министерстве и адмиралтействе, равно как и на скамье подсудимых в Олд Бейли или в рядах не­квалифицированных рабочих. Моральная оценка качеств Билла меняется в зависимости от этих обстоятельств. Грехи взлом­щика составляют главные достоинства финансиста; манеры и привычки герцога стоили бы места клерку. Словом, хотя ха­рактер и не зависит от обстоятельств, поведение тесно с ними связано и наша моральная оценка характера тоже. Возьмите любую жизненную ситуацию, при которой условия практически одинаковы для целой группы людей: уголовное преступление, па­лата лордов, фабрика, конюшня, цыганский табор или что душе угодно! Невзирая на несходство характеров и темпераментов, поведение и моральные нормы внутри каждой группы в основном так же предсказуемы, как в отаре овец, и нормы морали по большей части носят чисто поведенческий, обусловленный об­стоятельствами характер. Сильные личности знают это и на это рассчитывают. Ни в чем выдающиеся умы человечества так не отличались от обыкновенного владельца сезонного же­лезнодорожного билета, как в умении принять тот факт, что человечество, в сущности, единый вид, а не бродячий зверинец, состоящий из джентльменов и пройдох, подлецов и героев, тру­сов и удальцов, лордов и крестьян, бакалейщиков и аристокра­тов, ремесленников и чернорабочих, прачек и герцогинь, — звери­нец, где все степени дохода и кастовых привилегий представлены' какими-нибудь отдельными животными, которых нельзя сво­дить друг с другом или женить друг на друге. Наполеон, соста­вивший плеяду генералов, придворных и даже монархов из своей коллекции социальных нулей; Юлий Цезарь, назначающий прави­телем Египта сына вольноотпущенника, которого незадолго до того не взяли бы и рядовым в римскую армию; Людовик XI, де­лающий своего брадобрея личным советником, — у каждого из них было твердое понимание научного факта равенства людей, выраженного Барбарой в христианской формуле, а именно, что все люди — дети одного отца. Человек, полагающий, будто люди в моральном отношении подразделяются от природы на высшие, низшие и средние классы, совершает ту же ошибку, что и чело­век, думающий, будто они от природы точно так же подразде­ляются в социальном отношении. И все равно как наши настойчивые попытки создать политические учреждения на основе социального неравенства всегда приводили к долгим периодам пагубных трений, время от времени разрешавшихся бурными революционными взрывами, так и попытки (да обратят внимание амеиканцы!) создать моральные установления на основе моралъного неравенства могут привести лишь к противоесте­ственному царствованию святых, сменяемому каждый раз рас­пущенной Реставрацией. Они могут привести к превращению американцами развода в публичное достояние, а лица Европы в одну большую сардоническую ухмылку, когда американцы от­казались остановиться в гостинице одновременно с русским ге­нием, который женился вторично без санкции Южной Дакоты; привести к уродливому ханжеству, к жестоким преследованиям и полному смешению условностей и компромиссов с человеколю­бием и порядочностью. Совершенно бессмысленно утверждать, что все люди по природе свободны, если при этом отрицать, что человек по природе добр. Гарантируйте человеку доброту, и свобода придет сама собой. Гарантировать же ему свободу только при условии, что вы одобряете его моральный облик, значит, в сущности, уничтожить всякую свободу, поскольку свобода каждого зависит от морального приговора, который любой дурак может вынести любому, кто нарушает обычай,— неважно, в какой роли — пророка или негодяя. Эту истину еще должна усвоить Демократия для того, чтобы стать чем-то иным вместо самой деспотичной из всех форм фанатизма.

А теперь вернемся к Биллу Уокеру и к делу о его совести против Армии спасения. Майор Барбара, не будучи современным Тетцелем или казначеем больницы, отказывается продать Бил­лу индульгенцию за соверен. Но, к сожалению, то, в чем Армия может позволить себе отказать Биллу Уокеру, она не может отказать Боджеру. Боджер — хозяин положения, так как в его руках шнурки кошелька. «Рыпайтесь сколько угодно, — по сути, говорит Боджер, — без меня вам не обойтись. Без моих денежек Билла Уокера вы не спасете». И Армия спасения отвечает, и при данных обстоятельствах вполне уместно: «Мы лучше возьмем деньги у самого дьявола, чем перестанем спасать чело­вечество». И таким образом Боджер платит за спокойствие своей совести и получает индульгенцию, в которой Биллу отка­зано. В реальной жизни Билл, возможно, ничего бы про это не узнал, но я, драматург, чья задача — раскрыть связь явлений, кажущихся далекими и разобщенными в случайном распорядке явлений реальной жизни, я замыслил довести это до сведения Билла, в результате чего Армия спасения сразу теряет над ним власть.

Но Билл, несмотря ни на что, еще имеет шанс спастись. Его по-прежнему держат в узде факты и собственная совесть, и они еще могут отбить у него вкус к негодяйству. Однако твердо пообещать такой счастливый конец я не в состоянии. Пройдитесь по бедняцким кварталам наших больших городов в воскресенье, когда люди не работают, а отдыхают и пере­жевывают жвачку своих размышлений. Вы увидите на всех ли­цах одно и то же выражение — выражение цинизма. Открытие, которое сделал Билл Уокер относительно Армии спасения, здесь делают рано или поздно все. Они узнают, что каждый имеет свою цену, и, по недомыслию или по беспринципности, их на­учают не доверять человеку, презирать его за это необходимое и благотворное условие существования в обществе. Узнав, что генерал Бут тоже имеет свою цену, они не начинают восхи­щаться им за то, что цена эта высока, и не стремятся так организовать общество, чтобы генерал получал плату честным путем; нет, они делают вывод, что тип он сомнительный и что все религиозные люди лицемеры и союзники эксплуатато­ров и притеснителей. Они знают, что крупные суммы, поддер­живающие Армию спасения, поступают не благодаря религии, а благодаря мерзкой доктрине покорности нищего и смирения угнетенного; и вот души их раздирает мучительнейшее из со­мнений: а не родится ли истинное спасение из их самых гнусных страстей — убийства, зависти, жадности, упрямства, слепой ярости, террора, а вовсе не из гражданского духа, благоразу­мия, гуманности, великодушия, нежности, тонких чувств, жа­лости и доброты. Подтверждением такого подозрения, которое столь усердно последние годы раздувают наши газеты, служит милитаристская мораль, а оправданием милитаризма — тот факт, что в любую пору обстоятельства могут сделать мили­таризм истинной моралью настоящего момента. И, создавая предпосылки для такого момента, мы и вызываем к жизни не- обузданные и кровопролитные революции, какая теперь совер­шается в России и какие капитализм в Англии и Америке испо­дволь старательно провоцирует.

В такие моменты долг всякой церкви пробуждать все силы разрушения, направленные против существующего порядка. Но если церкви так и поступают, существующий порядок неми­нуемо подавляет их.

Наличие церквей допускается лишь при условии, что они будут проповедовать подчинение государству в его нынешнем капиталистическом виде. Сама англиканская церковь вынуждена добавить к тридцати шести статьям, в которых она формули­рует свои религиозные догматы, еще три, в которых извиняю­щимся тоном заверяет, что в ту минуту, как одна из статей придет в противоречие с государством, ее начисто отвергнут, изымут, отменят, отбросят и преступят, так как любой полицейский намного важнее любого из святой троицы. И вот почему никогда официальной церкви или Армии спасения не завоевать полного доверия бедняков. Поневоле церкви приходится быть на стороне полиции и военщины независимо от веры и убе­ждений. А коль скоро полиция и военщина — орудия, посред­ством которых богачи грабят и давят бедняков (на изобре­тенных для этой цели законных и моральных основаниях), то быть одновременно на стороне и бедняков и полиции невозмож­но. В сущности, религиозные учреждения как раздатчики ми­лостыни при богачах становятся своего рода вспомогательной полицией, притупляя бунтарскую заостренность нищеты углем и одеялами, хлебом и патокой, утешая и подбадривая жертву надеждами на большое и недорогое счастье в мире ином, когда их уже доведут непосильным трудом до преждевременной смер­ти в мире этом.

ХРИСТИАНСТВО И АНАРХИЗМ

Таково создавшееся ложное положение, из которого ни Армия спасения, ни англиканская церковь, ни любая другая рели­гиозная организация не могут найти выхода иначе, как реорга­низовав общество. Но они не могут и оставаться безучастны­ми, пассивно относясь к государству и просто умыв руки от его грехов. Государство беспрерывно будит людскую совесть, совер­шая насилия и жестокости. Не удовлетворяясь выжиманием из нас денег на содержание армии и полиции, тюремщиков и пала­чей, оно заставляет нас принимать активное участие в его дея­ниях, и мы подчиняемся ему под угрозой стать жертвами его произвола.

В то время как я пишу эти строки, миру явлен сенса­ционный пример. Празднуется свадьба королевской четы, спер­ва — бракосочетание в соборе, за ним следует бой быков, где в качестве главного развлечения предлагается зрелище вспо­ротых и выпотрошенных быком лошадей, когда же измученный бык обессиливает и перестает быть опасным, осторожный ма­тадор его убивает. Однако иронический контраст между боем быков и брачной церемонией никого не поражает. Еще к одному контрасту — между нарядностью, счастьем, атмосферой бла­гожелательного восхищения, окружающей юную чету, и ценой, заплаченной за это в нашем гнусном социальном устройстве в виде убожества, несчастий и деградации миллионов других молодых пар, — привлекает наше внимание романист мистер Эптон Синклер. Он отколупывает кусочек лакировки с гигант­ских скотобоен Чикаго и показывает нам образец того, что происходит во всем мире под верхним слоем процветания плутократии. Но одного человека этот контраст поразил настолько, что он решается ценою собственной жизни нанести смер­тельный удар виновным. В своем невежестве нищего он вообра­зил, будто вина лежит именно на этих невинных юных женихе и невесте, выдвинутых и коронованных плутократией в каче­стве глав государства, тогда как на деле личной власти у них меньше, чем у любого председателя треста. Им-то и адресует он на шесть пенсов взрывчатки, промахивается и выпускает кишки у такого же числа лошадей, что и бык на арене, прикан­чивает двадцать три человека и ранит еще девяносто девять. И из всех пострадавших только лошади не виноваты в том, за что он мстил: взорви он на воздух весь Мадрид со всем взрослым населением, никто не избегнул бы обвинения в соуча­стии — до, во время и после преступления, — обвинения в при­частности к бедности, проституции, оптовому избиению мла­денцев, какое не снилось Ироду, к чуме, моровой язве, голоду, войне, убийству и затяжному умиранию. Наверное, не нашлось бы никого, кто бы не содействовал примером, советом, попу­стительством и даже шумной поддержкой укоренению в дина­митчике ненависти и мести, ежедневно одобряя приговоры к долгим годам заключения, приговоры, настолько бесчеловечные по противоестественной глупости и панической жестокости, что сторонники их уж не могут выступить против ножа или бомбы, не сорвав с себя при этом маски правосудия и гуман­ности.

И тут, заметим, как раз выходит в свет биография одного из наших герцогов, который, будучи шотландцем, умел спорить о политике и потому среди наших аристократов выде­лялся как великий ум. И какой же был, скажите на милость, любимый исторический эпизод у его светлости, эпизод, о кото­ром, по его словам, он читал всегда с глубочайшим удовлетворе­нием? Да тот самый, когда в 1795 году молодой генерал Бона­парт расстрелял парижскую толпу, эпизод, который наши почтенные классы с шутливым одобрением прозвали «запах кар­течи», хотя сам Наполеон, надо отдать ему должное, взглянул на это потом по-иному и был бы рад, если бы про этот случай забыли. А поскольку герцог Аргайл был совсем не демон, а человек с такими же страстями, как все мы, не такой уж злобный и товарный, то кто будет удивляться, что во всем мире проле­тарии герцогского склада упиваются запахом динамита (аромат шутки слегка выдохся, не правда ли?), потому что он на­правлен на класс, который они ненавидят так же сильно, как наш сообразительный герцог ненавидел, как он выражался, чернь.

В подобной атмосфере последствие мадридского взрыва могло быть только одно. Вся Европа горит желанием перещего­лять его. Месть! Еще крови! Разорвите «анархистское чудови­ще» на клочки! Тащите его на эшафот! В тюрьму его пожиз­ненно! Пусть все цивилизованные государства сплотятся вместе, чтобы стереть таких, как он, с лица земли, а если ка­кое-то государство откажется присоединиться, объявите ему войну! На сей раз ведущая лондонская газета, антилибе­ральная и потому антирусская по своим политическим убежде­ниям, не заявляет жертвам: «И поделом вам!», как, в сущно­сти, заявила, когда Бобрикова, Плеве и великого князя Сергея таким же образом взорвали без официальной санкции. Нет уж, взрывайте на здоровье наших соперников в Азии, вы, храбрые русские революционеры, но покушаться на английскую принцес­су!.. Чудовищно! преступно! затравите мерзавца, предайте суду, но помните, мы народ цивилизованный и милосердный и, как бы мы потом ни жалели об этом, обойтись с ним, как обошлись с Равальяком и Дамиеном, невозможно. А пока мы его еще не схватили, давайте успокоим наши взвинченные нервы созерца­нием боя быков и любезно польстим неизменному такту и хоро­шему вкусу представительниц наших королевских семей: от природы наделенные полноценной нормальной душевной мяг­костью, они так удачно обуздывают ее в угоду светскости, что покорно позволяют увлечь себя на бойню лошадей, как, вероят­но, позволили бы увлечь себя на бой гладиаторов, появись сейчас мода на такое зрелище.

Но странно — посреди бушующего пожара всеобщей злобы один только человек сохранил еще веру в доброту и разумность че­ловеческой натуры, и этот человек — сам динамитчик, пресле­дуемый отщепенец; у него, судя по всему, нет другого средства закрепить свое торжество над тюрьмами и эшафотами Европы, кроме пистолета и готовности разрядить его в случае необходимости в свою или в любую другую, голову. Представьте себе, как страждет он найти хоть одного джентльмена и хри­стианина в людской стае волков, жаждущих его крови. Пред­ставьте себе еще вот что: с первой же попытки он находит того, кого ищет, настоящего испанского гранда, благородного, с возвышенным образом мыслей, неустрашимого, не ведающего злобы, в образе — каких только не бывает масок! — современно­го издателя. Волк-анархист, спасаясь от волков-плутократов, доверяется ему. Тот, не будучи волком (и лондонским издате­лем) и потому не настолько восхищаясь собственным подвигом, чтобы сделаться кровожадным, не швыряет его в гущу преследующих волков, а, напротив, всячески помогает скрыться, и тот уезжает, познав наконец силу, которая сильнее динами­та, хотя ее не купишь за шесть пенсов. Будем надеяться, этот справедливый и достойный человеческий поступок пошел на поль­зу Европе, хотя беглому он помог ненадолго. Волки-плутократы все-таки выслеживают его. Беглец стреляет в случайного, бли­жайшего к нему волка, стреляет в себя и затем своим портре­том в газетах доказывает миру, что он никакая не уродливая игра природы, не оборотень, а красивый юноша, что в нем не бы­ло ничего ненормального, кроме устрашающей отваги и решимо­сти (отсюда испуганный вопль «трус!» по его поводу), то есть тот, кому убить счастливую юную чету в утро свадьбы пока­залось бы при других, разумных и доброжелательных, человече­ских обстоятельствах неестественным и ужасным преступ­лением.

И тут наступает кульминация иронии и бессмыслицы. Волки, оставшись без волчатины, накинулись на того благород­ного человека и, как у них водится, кинули в тюрьму за то, что он отказался сомкнуть зубы на горле динамитчика и держать жертву, пока подоспевшие не прикончат ее.

Так что, как видите, человек не может быть в наше вре­мя джентльменом, даже если захочет. Что касается желания быть христианином, то тут ему предоставляется некоторая свобода, так как, повторяю, христианство имеет два лика. Об­щедоступное христианство имеет в качестве эмблемы висели­цу, в качестве главной сенсации — кровавую казнь после пытки, в качестве главного таинства — фанатическую месть, от кото­рой можно откупиться показным покаянием. Но существует более благородное, более неподдельное христианство, оно утвер­ждает святую тайну Равенства и отрицает вопиющую тщету и безрассудство мести, которую часто вежливо именуют на­казанием или Правосудием. Христианство виселицы дозволено, другое считается уголовным преступлением. Понимающие толк в иронии отлично знают, что единственный издатель в Англии, который отрицает наказание как в принципе неправильное, не признает также и христианства, свою газету он назвал «Сво­бодомыслящий» и арестован за «дурной вкус» по закону, напра­вленному против богохульства.

ЗДРАВЫЕ ВЫВОДЫ

А теперь я попрошу возбужденного читателя не терять головы, приняв ту или иную сторону, а вывести здоровую мо­раль из этих нелепостей. Вы не проявите здравого смысла, если предположите, чтобы законы, обращенные против преступности, применялись только к главарям и не применялись к соучастни­кам, чье согласие, совет или умолчание обеспечивают безнака­занность главарю. Если уж вводить наказание как элемент за­кона, надо наказывать и за отказ наказывать других. Если у вас имеется полиция, в ее обязанности неизбежно входит пону­ждать всех содействовать полиции. Бесспорно, если законы ва­ши неправедны, а полицейские выступают как орудие притесне­ния, в результате мы получим грубое вторжение в частное сознание граждан. Но тут уж ничего не поделаешь. Един­ственное средство не в том, чтобы всем, кому заблагорассу­дится, давать право мешать исполнению закона, а в том, чтобы создать такие законы, которые бы располагали к обще­народному согласию и не расправлялись жестоким и бессмыс­ленным образом с правонарушителями. Никто не одобряет взломщиков, однако современный взломщик, будучи задержан до­мовладельцем, обычно взывает к поймавшему, умоляя не обре­кать его на бесполезные ужасы каторжных работ. В иных слу­чаях нарушителю удается скрыться, так как те, кто мог его выдать, не считают такое правонарушение серьезной виной. По­рой в противовес официальным возникают неофициальные три­буналы, и они нанимают убийц на роль палачей, как делал, напри­мер, и Магомет, пока не утвердил свою власть официально, или ирландские католические организации за время долгой борьбы с лендлордами. В таких ситуациях убийца разгуливает на свобо­де, хотя всем в квартале известно, кто он и что совершил. Его не выдают отчасти потому, что оправдывают его точно так же, как законное правительство оправдывает своего официаль­ного палача, а отчасти потому, что их убьют, если они его вы­дадут,— еще один прием, перенятый у официального правитель­ства. Стоит учредить трибунал, пользующийся услугами наемного убийцы, не питающего личной вражды к жертве, — как всякая моральная разница между официальным и неофи­циальным убийством исчезнет.

Короче говоря, все люди — анархисты по отношению к за­конам, противоречащим их совести либо в своих основных прин­ципах, либо в мерах наказания. В Лондоне злейшими анархиста­ми можно считать судей, так как многие из них так стары и невежественны, что, когда их призывают применить закон, осно­ванный на принципах и сведениях менее чем полувековой давно­сти, они с ним не соглашаются. И поскольку они всего-навсего заурядные, доморощенные англичане и закон как абстрактное понятие они не уважают, то они наивно подают дурной пример, нарушая его. В этом случае человек отстает от закона. Но когда закон отстает от человека, человек все равно оказывается анархистом. Когда какая-нибудь грандиозная перемена в со­циальном устройстве, например индустриальная революция во­семнадцатого и девятнадцатого веков, делает наши правовые и промышленные установления устаревшими, анархизм превра­щается почти в религию. Вся армия самых активных гениев данного времени в области философии, экономики и искусства сосредоточивается на том, чтобы демонстрировать и напо­минать, что нравственность и закон — всего лишь условности, они могут быть ошибочными и постепенно устаревать. Траге­дии, где героями выступают бандиты, и комедии, где законопослушливые персонажи, наделенные общепринятой моралью, выс­меивают сами себя, приводя в негодование зрителей каждый раз, как они выполняют свой долг, — появляются одновременно с экономическими трактатами под заглавием типа: «Что та­кое собственность? Грабеж!» — и с историческими сочинениями на тему «Конфликт между религией и наукой».

Так вот, такое положение вещей нельзя считать нор­мальным. Преимущества жизни в обществе пропорциональны не­свободе индивидуума от кодекса морали, а свободе от сложно­сти и тонкости кодекса, который этот индивидуум готов не только принять, но и поддержать как нечто столь жизненно важное, что всякий правонарушитель делается вообще недопу­стим ни под каким видом. Но подобная позиция становится не­возможной в условиях, когда единственные в мире люди, спо­собные заставить услышать и запомнить себя, растрачивают всю энергию на то, чтобы нас тошнило от современного закона, современной морали, респектабельности и законной собственно­сти. Обыкновенного человека, необразованного по части теории общества, даже если он воспитан на латинских стихах, невоз­можно восстановить против всех законов своей страны и одно­временно убедить чтить закон как абстрактное понятие, жиз­ненно необходимое для общества. Стоит приучить его отвер­гать известные ему законы и обычаи, и он будет отвергать саму идею закона и саму основу обычаев, высмеивая человеческие права; превознося безмозглые методы как «исторические» и не признавая ничего, кроме чистого поведенческого эмпиризма: динамита — как основы политики и вивисекции — как основы науки. Эmo чудовищно, но что тут можно сделать? Вот я, например: по классовой принадлежности человек респектабельны, по наличию здравого смысла — не терпящий беспорядка и пустых трат, по образу мыслей — считающийся с законами до педантизма, по темпераменту — осторожный и бережливый, почти как старая дева. И тем не менее я всегда был, есть и теперь уже всегда буду революционно настроенным писателем, ибо наши законы делают Закон как таковой невыно­симым; наши пресловутые свободы уничтожают всякую Свобо­ду; наша собственность есть организованный грабеж; наша мораль — бесстыдное лицемерие; нашей мудростью распоря­жаются неопытные (или с отрицательным опытом) профаны; наша власть в руках трусливых и слабовольных, а наша честь насквозь фальшива, с какой стороны ни посмотри. Я — враг су­ществующего порядка и имею на то свои причины, но мои напад­ки нисколько не мешают людям, которые считают себя врага­ми этого порядка по своим собственным, но не моим причинам. Существующий порядок может сколько угодно визжать, что, если я буду говорить о нем правду, какой-нибудь глупец вынудит его стать еще хуже, попытавшись уничтожить его. Что ж, ничего не могу поделать, даже и предвидя, до чего он может докатиться. Даже сам этот порядок способен предвидеть, к чему может привести новое ухудшение: к тому, что обще­ство со всеми его тюрьмами, штыками, кнутами, остракизма- ми и лишениями окажется бессильно перед лицом Анархиста, готового пожертвовать своей жизнью в борьбе против обще­ства. От дешевых опустошительных взрывчатых средств, ка­кие может изготовить любой русский студент и с каким на­учился обращаться любой русский гренадер в Маньчжурии, нас охраняет то, что храбрые и решительные люди, когда они мер­завцы, не станут рисковать своей шкурой ради человечества, а когда не мерзавцы, то настолько гуманны, что любят челове­чество, ненавидят убийство и ни за что не станут совершать его, если только не растревожить в них совесть сверх меры. Значит, средство простое — не растревоживать их совесть сверх меры.

Не бойтесь, они не будут действовать очертя голову. Все люди, прежде чем поставить на карту свою жизнь в смертель­ной борьбе с обществом, берут в расчет все обстоятельства. Никто не требует и не ожидает золотого века. Но есть две ве­щи, которые нужно исправить, иначе мы погибнем от атрофии души, как погиб Рим, пожелавший стать империей.

Во-первых, ежедневная процедура распределения богат­ства страны между жителями должна проводиться так, чтобы ни единой крошки, кроме пайка заключенному, не шло здо­ровым и крепким еще людям, которые не производят путем соб­ственных усилий не только полного эквивалента тому, что по­лучают, но сверх того еще излишка, покрывающего будущую пенсию по старости и компенсирующего издержки по питанию.

Во-вторых, умышленное нанесение злостного ущерба, именуемого наказанием, должно быть отменено; вор, бандит, игрок, нищий должны, не подвергаясь бесчеловечному обраще­нию, предстать перед законом, и до их сознания должны дове­сти, что государство, слишком гуманное, чтобы наказывать, оказалось бы слишком расточительным, если бы оно тратило жизни честных людей на охрану и препровождение в тюрьму бес­цветных. Поэтому мы и не заключаем в тюрьму собак. Мы да­же рискуем быть для начала укушенными. Но если собаке до­ставляет удовольствие лаять и кусаться, ее бросают в душегубку. Мне это представляется разумным. Разрешить собаке искупить свою привычку кусаться периодом мучений, а потом выпустить ее куда более озлобленной (собака, поса­женная на цепь, озлобляется), с тем чтобы она опять кусалась и опять искупала свою вину, а тем временем уйма человеческих жизней и счастья уходило бы на то, чтобы сажать ее на цепь, кормить и мучить, — кажется мне идиотическим предрассудком. Однако это самое мы и проделываем с людьми, которые лают, кусаются и воруют. Было бы гораздо разумнее какое-то время мириться с их пороками, как мы миримся с болезнями; когда же станет себе дороже терпеть это, с извинениями и изъявле­нием сочувствия, проявив толику великодушия и исполнив их по­следнюю волю, препроводить их в душегубку и избавиться от них.

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы они искупали свои преступления с помощью сфабрикованного на­казания, жертвовали на приюты или возмещали убытки жер­твам. Если не будет наказаний, не будет и прощения. Никогда у нас не появится настоящей моральной ответственности, пока каждый не усвоит, что его поступки необратимы и что жизнь его зависит от степени той пользы, какую он приносит. До сих пор, увы! — человечество не осмеливалось взглянуть в лицо этим жестоким фактам. Мы лихорадочно швыряемся деньгами для успокоения своей совести и изобретаем для этого целые си­стемы банковских операций, искупительных взысканий, компен­саций, исправлений, спасений, подписных листов и всякой вся­чины, чтобы только снять с себя моральную ответственность.

Не довольствуясь прежними козлом отпущения и агнцем на заклание, мы обожествляем спасителей вполне человеческого происхождения и молимся чудотворным непорочным заступницам. Мы приписываем милосердие безжалостным и, совершив убий­ство, успокаиваем свою совесть, кидаясь на грудь божественной любви. Но мы шарахаемся от построенной своими же руками виселицы потому что волей-неволей вынуждены признать, что уж это и точно необратимо, — как будто один час тюрьмы не столь же необратим, как любая казнь!

Если человек не способен взглянуть в лицо злу без всяких иллюзий, значит, он никогда не узнает, что оно собой предста­вляет, а значит, не сможет успешно сражаться с ним. Те не­многие, кто (относительно) способен на-это, прозываются ци­никами, они несут в себе заряд зла больше обычного, пропорционально большей, чем обычно, силе духа. Но они никогда не творят зло, не имея намерения его сотворить. Вот отчего большие мерзавцы бывали милосердными правителями, а добро­душные и безвредные в частной жизни монархи губили свою страну, поверив в фокус «невиновность-вина», «награда-наказа­ние», «добродетельное негодование-прощение», вместо того чтобы твердо противостоять фактам, не проявляя при этом ни злобы, ни сострадания.

Майор Барбара противостоит в этом смысле Биллу Уокеру, и в результате хулигану, не добившемуся, чтобы его воз­ненавидели, приходится самому себя возненавидеть. Чтобы облегчить себе эту муку, он пытается добиться, чтобы его на­казали, но девушка, член Армии спасения, которую он старает­ся вывести из себя, так же безжалостна, как и Барбара, и лишь молится за него. Тогда он пытается заплатить за при­чиненную обиду, но никто не берет у него денег. Его судьба — судьба Каина. Отчаявшись найти спасителя-полицейского или раздатчика милостыни, которые помогли бы ему притвориться, будто кровь брата больше не вопиет из-под земли, он вынужден жить и умереть убийцей. Каин постарался больше не совершать убийств, в отличие от наших акционеров железнодорожной компании (я один из них), которые убивают и калечат сцеп­щиков сотнями, дабы сэкономить на автоматических сцепле­ниях, а потом искупают это путем ежегодных пожертвований в пользу достойных благотворительных заведений. Если бы Каину позволили уплатить свой долг, он, возможно, убил бы Адама и Еву ради второго роскошного примирения с Богом. Боджер, можете быть уверены, до конца своей жизни будет отравлять людей скверным виски, поскольку он всегда может рассчиты­вать на то, что Армия спасения или англиканская церковь уЖ непременно устроят для него искупление за небольшие проценты с его доходов.

Есть и третье условие, которое надо выполнить, прежде чем великие учителя мира прекратят глумиться над его релииями. Религиозные учения должны стать интеллектуально честными. В настоящее время в мире нет ни одной официальной религии, заслуживающей доверия.

Это, пожалуй, самый ошеломляющий факт во всей картине современного мира.

Пьеса моя «Майор Барбара», надеюсь, написана правдиво и с вдохновением, но тот, кто скажет, что все в ней случилось на самом деле и что понимать ее надо как хронику действи­тельных событий и, соответственно, ей доверять, тот, как го­ворится в Писании, олух и лжец и мною, автором, разоблачает­ся и проклинается во веки веков.

Лондон, июнь 1906.

Стихи Еврипида во втором акте «Майора Барбары» при­надлежат не мне и даже, собственно, не Еврипиду. Их сочинил профессор Гилберт Мюррей, чей английский перевод «Вакханок» вошел в нашу драматургию с напористостью подлинника неза­долго до того, как я начал писать «Майора Барбару». Пьеса не только в этом, но и в других отношениях находится у него в долгу.

Дж. Б. Ш.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Январский вечер 1906 года в библиотеке дома леди Бритомарт Андершафт на Уилтон-креснт. Посредине ком­наты — большая удобная кушетка, обитая темной ко­жей. Справа от сидящего на кушетке (сейчас она пуста) — письменный стол леди Брито март, за столом — она сама; позади слева — еще один письменный стол, по­меньше; рядом с леди Брито март — дверь; окно с широ­ким подоконником — слева. У окна — кресло. Леди Брито март — женщина лет пятидесяти; хо­рошо одевается, хотя не обращает внимания на костюм; хорошо воспитана, хотя совершенно равнодушна к собст­венной воспитанности; приятна в обращении, но прямоли­нейна до резкости и ничуть не считается с мнением собе­седника; любезна, но своевольна, деспотична и раздражи­тельна до последней степени; в общем, типичная матрона высшего круга, с которой обращались, как с непослушной девочкой, пока она сама не превратилась в строгую мамашу, не набралась уменья вести дела и не приобрела жизненного опыта, до нелепости ограниченного классовыми и семейны­ми рамками; мир представляется ей чем-то вроде большого дома на Уилтон-креснт, и в своем уголке этого мира она правит, всецело основываясь на этом представлении, что не мешает ей держаться самых широких и просвещенных взглядов на все, что касается книг в библиотеке, картин на стенах, нот в папках и статей в газетах. Входит ее сын Стивен. Молодой человек лет двадцати четырех, корректный до мрачности, весьма уважает самого себя, но все егце побаивается матери, скорее по детской привычке и по застенчивости, свойственной холо­стякам, чем по слабости характера.

Стивен. Вы меня звали, мама?

Леди Бритомарт. Минуту терпения, Стивен. (Стивен покорно идет к кушетке, садится и берет либе­ральный еженедельник, именуемый «Спикером») Оставь газету, Стивен. Мне понадобится все твое внимание.

Стивен. Так ведь это только пока я жду...

Леди Бритомарт. Не оправдывайся, Стивен. Стивен кладет газету на место. Ну вот! (Кончает писать, встает и подходит к кушет­ке.) Кажется, я не слишком долго заставила тебя ждать?

Стивен. Нет, нет, нисколько.

Леди Бритомарт. Принеси мне подушку, Стивен. (Он берет подушку с кресла перед столом, кладет ее на ку­шетку, леди Бритомарт садится). Садись. (Он садится и начинает нервно теребить галстук) Оставь галстук, Стивен, он у тебя в порядке.

Стивен. Простите, мама. (Начинает играть часовой цепоч­кой.)

Леди Бритомарт. Теперь ты меня слушаешь, Стивен?

Стивен. Само собой, мама.

Леди Бритомарт. Нет, не само собой, Стивен. Мне не нужно такое внимание, которое само собой разумеется. Я собираюсь поговорить с тобой серьезно. Оставь, пожа­луйста, цепочку в покое.

Стивен (поспешно выпуская цепочку из рук). Я чем-нибудь огорчил вас, мама? Если так, то это вовсе не намеренно.

Леди Бритомарт (в изумлении). Какие пустяки! (С неко­торым раскаянием.) Бедный мальчик, неужели ты по­думал, что я на тебя сержусь?

Стивен. Так в чем же дело, мама? Вы меня пугаете.

Леди Бритомарт (выпрямляется, смотрит на него до­вольно грозно). Стивен, нельзя ли спросить, когда же ты поймешь наконец, что ты взрослый мужчина, а я всего- навсего женщина?

Стивен (растерянно). Всего-навсего жен...

Леди Бритомарт. Пожалуйста, не повторяй моих слов. Что за отвратительная привычка! Пора тебе смотреть на жизнь серьезней, Стивен. Я не могу больше нести одна всю тяжесть наших семейных дел. Ты должен мне советовать и брать ответственность на себя.

Стивен. Я!

Леди Бритомарт. Да, конечно ты. Тебе в июне исполни­лось двадцать четыре года. Ты учился в Харроу и Кем­бридже. Ты был в Индии и Японии. Ты должен очень Много знать, если только не потратил время зря самым возмутительным образом. Так вот, дай мне совет.

Стивен (в совершенном замешательстве). Вы знаете, я ни­когда не вмешивался в домашние дела...

Леди Бритомарт. Ну конечно, еще бы ты вмешивался. я вовсе не желаю, чтобы ты заказывал обед.

Стивен. Я хочу сказать — в наши семейные дела.

Леди Бритомарт. Ну, а теперь ты должен вмешаться, мне уже становится не под силу.

Стивен (озабоченно). Я и сам думал иногда, что мне следо­вало бы вмешаться; но, право, мама, я так мало знаю, а то, что я знаю, так неприятно: есть вещи, о которых я просто не могу говорить с вами... (Замолкает в смущении.)

Леди Бритомарт. Это ты об отце?

Стивен (почти неслышно). Да.

Леди Бритомарт. Милый мой, нельзя же нам молчать о нем всю жизнь. Разумеется, ты был совершенно прав, что не начинал разговора на эту тему, пока я сама тебя не попросила; но ты уже достаточно взрослый, чтоб я могла на тебя положиться и ждать от тебя поддержки, когда придется говорить с отцом о девочках.

Стивен. Но ведь девочки устроены. Они выходят замуж.

Леди Бритомарт (снисходительно). Да, я нашла очень хорошую партию для Сары. К тридцати пяти годам Чарлз Ломэкс будет миллионером. Но это еще через де­сять лет, а до тех пор опекуны, согласно завещанию его отца, дают ему не больше восьмисот фунтов в год.

Стивен. В завещании сказано, что если он увеличит этот до­ход собственным трудом, то сумма может быть удвоена.

Леди Бритомарт. Ну, труд Чарлза Ломэкса может разве уменьшить этот доход, а не увеличить. И в течение деся­ти лет Саре придется откуда-то брать еще восемьсот фунтов в год, да и то они будут бедны, как церковные мыши. А Барбара? Я думала, из всех моих детей именно она сделает самую блестящую карьеру, и что же вместо этого? Она вступает в Армию спасения, рассчитывает горничную, живет на фунт в неделю и в один прекрасный вечер приводит с улицы какого-то учителя греческого языка, который прикинулся сторонником Армии Спасения и записался в барабанщики, а все потому, что влю­бился по уши в Барбару!

Стивен. Да, я, признаться, удивился, когда услышал, что они помолвлены. Адольф Казенс, конечно, очень порядочный малый. Никому в голову не придет, что он родился в Австралии, а все-таки...

Леди Бритомарт. Из Адольфа выйдет очень хороший муж. В конце концов, против греческого языка ничего не скажешь. Наоборот, сразу видно воспитанного человека. Да и семья моя, слава богу, не какие-нибудь тупоголовые консерваторы. Мы либералы и стоим за свободу. Пускай всякие там снобы говорят что угодно: Барбара выйдет не за того, кто нравится им, а за того, кто нравится мне.

Стивен. Я, конечно, имел в виду только его состояние. А впрочем, на что ему деньги?

Леди Бритомарт. Напрасно ты так думаешь, Стивен. Знаю я эти простые, тихие, утонченные поэтические на­туры вроде Адольфа: им немного надо, только давай им все самое лучшее! Они обходятся куда дороже франтов; те — скряги и вообще дрянной народ. Нет, Барбаре пона­добится самое меньшее две тысячи в год. Вот тебе еще два хозяйства. А кроме того, мой милый, тебе тоже нуж­но жениться поскорей. Я не одобряю нынешней моды на флиртующих холостяков и поздние браки. Я и для тебя подыскиваю подходящую партию.

Стивен. Вы очень добры, мама, только лучше уж я сам найду.

Леди Бритомарт. Какие пустяки! Ты еще молод, где тебе самому свататься: тебя поймает первая смазливая дев­чонка, какое-нибудь ничтожество. Разумеется, я ничего не говорю, тебя тоже спросят, ты это знаешь не хуже меня.

Стивен, поджав губы, молчит.

Ну, уж только не дуйся, Стивен.

Стивен. Я не дуюсь, мама. Но при чем же тут... При чем же тут... отец?

Леди Бритомарт. Милый мой Стивен, откуда же мы возьмем деньги? И ты и другие дети без труда проживе­те на мой доход, пока все мы под одной крышей, но я не в состоянии содержать четыре семьи, четыре разных до­ма. Ты знаешь, как беден мой отец, у него теперь еле-еле наберется семь тысяч в год, и, по правде говоря, не будь он граф Стивенэдж, его перестали бы принимать в обще­стве. Он ничего не может для нас сделать. Он гово­рит — и совершенно справедливо, что глупо было бы с его стороны заботиться о детях человека, который ку­пается в золоте. Сам понимаешь, Стивен, твой отец дол­жен быть баснословно богат: ведь всегда кто-нибудь да воюет.

Стивен. Вам незачем напоминать мне об этом. Мне еще ни разу в жизни не приходилось развернуть газету, чтоб не натолкнуться на нашу фамилию. Торпеда Андершафта! Скорострельные орудия Андершафта! Десятидюймовки Андершафта! Самоходный лафет Андершафта! Подвод­ная лодка Андершафта! А теперь воздушный броненосец Андершафта! В Харроу меня звали «наследник арсена­ла». Да и в Кембридже тоже. В Королевском колледже один идиот, вечно носившийся с мыслью о религиозном возрождении, испортил мне Библию — ваш подарок ко дню рождения, — взял и написал под моим именем: «Сын и наследник фирмы Андершафт и Лейзерс, поставщиков смерти и разрушения. Адрес: Христианский мир и Иу­дея». Но это еще ничего; гораздо хуже, что меня ве­зде принимают с распростертыми объятиями только потому, что мой отец нажил миллионы на торговле пушками.

Леди Бритомарт. Тут не только пушки, тут еще и во­енные займы, которые устраивает Лейзерс в форме кре­дитов на эти самые пушки. Просто возмутительно. Два человека, Эндру Андершафт и Лейзерс, прибрали к ру­кам всю Европу. Вот почему твой отец так себя держит. Он выше закона. Ты думаешь, что Бисмарк, Дизраэли или Гладстон позволили бы себе не считаться с обще­ством и моралью, как твой отец? Они просто не посмели бы. Я просила Гладстона вмешаться. Просила «Тайме». Просила лорда-чемберлена. С таким же успехом можно было просить, чтобы они объявили войну Турции. Они не хотят. Говорят, что его нельзя трогать. По-моему, они его просто боятся.

Стивен. Что же они могут сделать? Ведь он не совершил ни­чего противозаконного.

Леди Бритомарт. Ничего противозаконного! Да он всю свою жизнь поступает не­за­кон­но. Он и родился-то неза­конно. Его родители были не обвенчаны.

Стивен. Мама! Неужели это правда?

Леди Бритомарт. Разумеется, правда. Из-за этого мы и разошлись.

Стивен. Он женился на вас и ничего не сказал вам?

Леди Бритомарт (несколько смущенная таким выводом). Ну что ты, нет! Надо отдать Эндру справедливость - сказать-то он сказал. Ты ведь знаешь девиз Андершафтов: «Без стыда». Это было всем известно.

Стивен. Но вы говорите, что разошлись с ним из-за этого?

Леди Бритомарт. Да, мало того, что он сам найде­ныш, — он хотел лишить тебя наследства в пользу друго­го найденыша. Этого я не могла вынести.

Стивен (сконфуженно). Вы хотите сказать — в пользу... в пользу...

Леди Бритомарт. Что ты там бормочешь, Стивен? Выра­жайся ясней.

Стивен. Но это просто ужасно, мама. Приходится говорить с вами на такие темы!

Леди Бритомарт. Мне это тоже неприятно, Стивен, тем более что ты до сих пор не научился вести себя как взрослый: ты теряешься, разыгрываешь какую-то невин­ность. Только мещане приходят в отчаяние и ужас от то­го, что на свете существуют негодяи. А людям нашего круга приходится решать, как поступить с этими негодя­ями; нам нельзя теряться. А теперь задай вопрос как следует.

Стивен. Мама, вы совсем не хотите со мной считаться! Или обращайтесь со мной по-прежнему, как с ребенком, и не говорите мне ничего, или расскажите все; а там уж мое дело, как я это приму.

Леди Бритомарт. Я обращаюсь с тобой, как с ребенком? Что ты, мой милый! С твоей стороны это просто черная неблагодарность. Ты же знаешь, я ни с кем из вас не" обращалась как с детьми. Я всегда считала вас своими товарищами и друзьями и давала вам полную свободу говорить и поступать, как нравится, если вам нравилось то, что я одобряю.

Стивен (в отчаянии). Ну хорошо, все мы очень дурные дети очень хорошей матери, но хоть на этот раз оставьте мои недостатки в стороне, прошу вас, и расскажите, что это за ужасная история. Отец хочет отстранить меня ради другого сына?

Леди Бритомарт (удивленно). Ради какого сына? Я ниче­го подобного не говорила. Мне это и во сне не снилось. Вот что значит прерывать меня!

Стивен. Но вы же сами сказали...

Леди Бритомарт (резко обрывая его). Ну, Стивен, веди себя прилично, имей терпение меня выслушать. Андершафты происходят от найденыша, подкинутого к церкви святого Эндру Андершафта в Сити. Это случилось очень давно, еще в царствование Якова Первого. Так вот, этого найденыша усыновил один оружейник и пушкарного дела мастер. Со временем он унаследовал мастерскую оружейника и из благодарности или по обету, не знаю уж поче­му, тоже усыновил найденыша и завещал дело ему. И этот найденыш поступил так же. И с тех пор пушечное дело всегда переходило к найденышу вместе с именем Эндру Андершафт.

Стивен. Но разве они не женились? Разве у них не было за­конных сыновей?

Леди Бритомарт. Конечно были; они женились, как же­нился и твой отец, и были достаточно богаты, чтобы ку­пить своим детям поместья и оставить им хорошее со­стояние. Но они всегда усыновляли и воспитывали какого-нибудь найденыша, с тем чтобы он унаследовал их дело, и, разумеется, жестоко ссорились из-за этого со своими женами. Твоего отца тоже усыновили, и он, ви­дишь ли, считает себя обязанным поддержать традицию и усыновить кого-нибудь, чтобы передать ему дело. Ра­зумеется, я этого не потерплю. Это, может быть, имело смысл, пока Андершафты могли жениться только на женщинах своего круга и пока их сыновья неспособны были управлять большим делом. Но обходить моего сы­на нет никаких оснований.

Стивен (с сомнением). Боюсь, что из меня выйдет плохой управляющий орудийным заводом.

Леди Бритомарт. Пустяки! Ты можешь нанять упра­вляющего и платить ему жа­ло­ванье.

Стивен. Отец, как видно, невысокого мнения о моих способ­ностях.

Леди Бритомарт. Какой вздор, Стивен! Тогда ты был младенцем. При чем тут твои способности? Эндру сде­лал это из принципа, он все дурные поступки совершает из принципа. Когда мой отец потребовал у него объясне­ний, Эндру не постеснялся сказать ему прямо в глаза, что в истории только два предприятия увенчались успе­хом : одно — фирма Андершафт, а другое — римская им­перия при Антонинах; и то будто бы потому, что все Ан­тонины усыновляли своих преемников. Глупости какие! Надеюсь, Стивенэджи ничем не хуже Антонинов, а ведь ты Стивенэдж. Но это похоже на Эндру. Он всегда был такой. Когда нужно защищать какую-нибудь нелепость и несправедливость, он за словом в карман не лезет. А когда нужно вести себя разумно и прилично, злится и молчит.

Стивен. Так, значит, это из-за меня разладилась наша семейная жизнь? Мне очень жаль, мама.

Леди Бритомарт. Ах, милый мой, были и другие при­чины. Я не терплю без­нравствен­нос­ти. Кажется, я не фа­рисейка, я ничего не имела бы против, если бы Эндру вел себя дурно: все мы далеки от совершенства. Но твой отец вел себя как полагается, а думал и говорил бог знает что, вот это-то и ужасно. И возвел это в какую-то рели­гию. Обычно прощаешь людям, которые ведут себя без­нравственно, лишь бы они признавали свои заблуждения и проповедовали нравственность. Я же не могла про­стить Эндру, что он проповедует безнравственность, а ве­дет себя нравственно. Вы все выросли бы беспринципны­ми людьми и не умели бы отличить хорошее от дурного, если бы он жил вместе с нами. Ведь ты знаешь, мой милый, твой отец был во многих отношениях очень при­влекательный человек. Дети любили его, и он пользовал­ся этим, чтобы внушать им самые возмутительные идеи, так что с вами сладу не было. Нельзя сказать, чтобы я его не любила: напротив, но в вопросах морали между нами всегда была пропасть.

Стивен. Все это просто кажется мне диким. Люди могут не сходиться в убеждениях, верить по-разному, но как мож­но расходиться в мнениях о том, что хорошо и дурно? Что хорошо — то хорошо, а что дурно — то дурно; если человек не может отличить хорошего от дурного, он либо мошенник, либо дурак, вот и все.

Леди Бритомарт (тронутая). Ах ты мой милый маль­чик! (Треплет его по щеке.) Твой отец никогда не мог ответить на этот вопрос, только смеялся и говорил ка­кой-нибудь вздор, лишь бы увильнуть. А теперь, когда тебе все известно, что ты мне посоветуешь делать?

Стивен. А что вы можете сделать?

Леди Бритомарт. Мне нужны деньги во что бы то ни стало.

Стивен. У него нам нельзя брать. Я лучше перееду от вас в дешевую квартиру, где-нибудь на Бедфорд-сквер или даже в Хемстеде, чем возьму у него хоть грош.

Леди Бритомарт. Но ведь и теперь мы живем на его средства.

Стивен (потрясенный). Я этого не знал.

Леди Бритомарт. Не думал же ты, что дедушка может что-нибудь давать мне? Стивенэджи не в состоянии все для тебя сделать. Мы дали тебе положение в обществе. Эндру тоже должен чем-нибудь помочь. Я думаю, он не в убытке.

Стивен (с горечью). Так, значит, мы всецело зависим от от­ца и от его пушек?

Леди Бритомарт. Разумеется, нет: деньги положены на мое имя. Но вклад сделал он. Так что, ты понимаешь, вопрос не в том, брать или не брать у него деньги, а в том, сколько брать. Мне самой ничего не нужно.

Стивен. Мне тоже.

Леди Бритомарт. А Саре нужно и Барбаре нужно. То есть им понадобятся деньги для Чарлза Ломэкса и Адольфа Казенса. Поэтому мне придется спрятать гор­дость в карман и просить у твоего отца денег. Значит, ты мне советуешь, Стивен, не правда ли?

Стивен. Нет, не советую.

Леди Бритомарт (резко). Стивен!

Стивен. Конечно, если вы уже решили...

Леди Бритомарт. Я еще ничего не решила; я прошу у те­бя совета и жду, что ты скажешь. Я не желаю, чтобы всю ответственность взвалили на меня одну.

Стивен (упрямо). Я скорее умру, чем попрошу у него хоть грош.

Леди Бритомарт (mоном жертвы). Это значит, что про­сить должна я. Очень хорошо, Стивен, пусть будет так, как ты хочешь. Тебе будет приятно узнать, что твой де­душка того же мнения. Он думает, что мне следует при­гласить Эндру сюда, чтобы он повидался с дочерьми. В конце концов, должна же у него быть какая-то привя­занность к детям!

Стивен. Пригласить его сюда?!

Леди Бритомарт. Не повторяй моих слов, Стивен. Куда же еще я могу его пригласить?

Стивен. Я не ожидал, что вы его вообще пригласите.

Леди Бритомарт. Не раздражай меня, Стивен. Ты же сам понимаешь — нужно, чтоб он сделал нам визит, не так ли?

Стивен (неохотно). Да, пожалуй, если девочки не могут обой­тись без его денег.

Леди Бритомарт. Благодарю тебя, Стивен. Я знала, что ты сумеешь дать мне хороший совет, если объяснить те­бе, чего я хочу. Я пригласила твоего отца приехать се­годня вечером.

Cmивен вскакивает с места.

Не вскакивай, Стивен, это мне действует на нервы.

Стивен (в совершенном ужасе). Вы хотите сказать, что отецбудет здесь сегодня вечером, что он может приехать с минуты на минуту?!

Леди Бритомарт(взглянув на часы). Я просила его быть к девяти.

Стивен охает. Леди Бритомарт встает.

Позвони, пожалуйста.

Стивен подходит к письменному столу поменьше, нажи­мает кнопку звонка, садится, облокачивается на стол и подпирает голову руками, ошеломленный и растерянный.

Сейчас без десяти минут девять, а мне еще нужно подго­товить девочек. Я нарочно пригласила к обеду Чарлза Ломэкса и Адольфа, это будет кстати. Пускай Эндру сам на них посмотрит, чтобы у него не осталось никаких иллюзий насчет того, будто они способны содержать своих жен.

Входит дворецкий.

(Обращается к нему.) Морисон, подите в гостиную и скажите, что я прошу всех прийти сюда сейчас же. Морисон уходит.

(Стивену.) Не забудь, Стивен: я рассчитываю на твою выдержку и авторитет.

Он встает и пытается придать своему лицу соответ­ствующее выражение.

Придвинь мне стул, мой милый.

Он передвигает стул от стены к маленькому письменно­му столу, возле которого стоит леди Бритомарт; она садится. Стивен идет к креслу и бросается в него.

Не знаю, как Барбара это примет. С тех пор как ее сде­лали майором Армии спасения, у нее развилась наклон­ность поступать по-своему и командовать людьми; под­час она меня просто пугает. Воспитанной девушке такие манеры вовсе не к лицу. Не знаю, право, где она этого набралась. Ну, меня Барбара не запугает, а все-таки луч­ше бы твой отец был уже здесь, а то она, пожалуй, отка­жется видеться с ним или поднимет шум. Не смотри так испуганно, Стивен, этим ты только раззадоришь Барбару - видит бог, я и сама волнуюсь, но не подаю виду.

Появляются Сара и Барбара со своими поклонника­ми — Чарлзом Ломэксом и Адольфом Казенсом. Сара — изящная, томная, светская; Барбара — крепче, жизнерадостней и гораздо энергичней. Сара одета по моде. Барбара — в мундире Армии спасения. Чарлз Ломэкс — молодой повеса, похожий на всех молодых свет­ских повес. Страдает гипертрофией чувства юмора, ко­торое граничит у него с легкомыслием и проявляется в самые неподходящие для этого минуты припадками с трудом подавляемого смеха. Казенс — ученый в очках, худой; жидкие волосы, мягкий голос; страдает более сложной формой болезни Ломэкса: чувство юмора, интел­лектуальное и тонкое, осложняется у него вспышками не­истового раздражения. Постоянная борьба мягкой и гу­манной натуры с приступами желчного сарказма и резкой раздражительности держит его в неослабном напряже­нии, что, по-видимому, отражается на здоровье. Это че­ловек в высшей степени решительный, неумолимый, упорный и нетерпимый, который в силу одной только вы­держанности производит впечатление — впрочем, он и на самом деле таков — человека мягкого, внимательного, уступчивого, щепетильного и даже кроткого, способного, быть может, на убийство, но не на грубость или жесто­кость. Под влиянием какого-то инстинкта, который слишком безжалостен, чтобы дать ему иллюзию любви, Адольф выказывает упорное стремление жениться на Барбаре. Ломэксу нравится Сара; он думает, что же­ниться на ней было бы забавно, поэтому не противится махинациям леди Бритомарт.

У всех четверых такой вид, словно они очень веселились в гостиной. Девушки входят первыми, оставив своих по­клонников за дверью. Сара подходит к кушетке. За ней входит Барбара и останавливается в дверях.

Барбара. Чолли и Долли тоже можно войти?

Леди Бритомарт (энергично). Барбара, я не желаю, чтобы Чарлза звали Чолли; я просто делаюсь больна от такой вульгарности.

Барбара. Это ничего, мама, в наше время Чолли звучит вполне прилично. Можно им войти?

Леди Бритомарт. Да, если они будут вести себя как следует.

Барбара (обернувшись к дверям). Входите, Долли, и ведите себя как следует.

Барбара подходит к письменному столу леди Бритомарт.

Казенс входит, улыбаясь, и с рассеянным видом идет к леди Бритомарт.

Сара (зовет). Входите, Чолли.

Ломэкс входит, едва сдерживая смех, и останавливается на полдороге между Сарой и Барбарой.

Леди Бритомарт (повелительно). Сядьте, пожалуйста, все сядьте.

Они садятся. Казенс переходит к окну и садится там. Ломэкс берет себе стул. Барбара садится у письменного стола, а Сара на кушетку.

Совершенно не понимаю, чему вы смеетесь, Адольф? От Чарлза Ломэкса я ничего другого не ожидала, а вам я удивляюсь.

Казенс (необыкновенно мягким голосом). Барбара пробовала выучить меня маршу Армии спасения.

Леди Бритомарт. Не вижу, чему тут смеяться, а тем более вам, если вы в самом деле обратились.

Казенс (кротко). Вы не видели. Было в самом деле смешно. Ломэкс. Потрясающе!

Леди Бритомарт. Успокойтесь, Чарлз. Теперь выслушайте меня, дети. Ваш отец будет здесь сегодня вечером.

Общее изумление. Ломэкс, Сара и Барбара встают: Сара в испуге, Барбара в ожидании, заинтересованная.

Ломэкс (протестуя). Ну, доложу я вам!

Леди Бритомарт. Вас вовсе не просили докладывать, Чарлз.

Сара. Вы не шутите, мама?

Леди Бритомарт. Разумеется, нет. Я пригласила его ради тебя, Сара, и ради Чарлза.

Молчание. Сара садится, пожав плечами. Чарлз явно удручен таким незаслуженным вниманием.

Надеюсь, ты не возражаешь, Барбара?

Барбара. Я? Нет, почему же? Душа моего отца так же нуждается в спасении, как и у всякого другого. Насколько это меня касается, я ему даже рада. (Садится на край стола и тихонько насвистывает «Вперед, о воины Христа».)

Ломэкс (все еще протестуя). Ну, знаете ли! Вот так дела!

Леди Бритомарт (холодно). Что вы этим хотите сказать, Чарлз?

Ломэкс. Ну послушайте, согласитесь сами, что это уж слишком.

Леди Бритомарт (со зловещей любезностью, обращаясь к Казенсу). Адольф, вы преподаете греческий; не можете ли вы перевести нам замечания Чарлза Ломэкса на при­личный английский язык?

Казенс (осторожно). Насколько я могу судить, леди Брит, Чарлзу удалось выразить то, что все мы чувствуем. Гомер, говоря об Автолике, употребляет то же выражение «πυχιγόν δόμον έλ θετν», что и значит: «Это уж слишком».

Ломэкс (великодушно). Что же, я не против, знаете ли, если Сара не против. (Садится.)

Леди Бритомарт (уничтожающе). Благодарю вас. А вы, Адольф, тоже разрешите мне пригласить моего собственного мужа в мой собственный дом?

Казенс (галантно). Во всем, что бы вы ни делали, я всецело на вашей стороне.

Леди Бритомарт. Ну-ну, довольно! А тебе, Сара, разве нечего сказать?

Сара. Он совсем к нам переедет?

Леди Бритомарт. Разумеется нет. Ему приготовлена комната для гостей, если он захочет остаться на день, на два и познакомиться с вами поближе, но всему есть границы.

Сара. Ну что ж, ведь он нас не съест. Я не возражаю.

Ломэкс (посмеиваясь). Любопытно, что-то запоет старик.

Леди Бритомарт. Без сомнения, то же, что и старуха, Чарлз.

Ломэкс (смутившись). Я вовсе не хотел сказать... то есть...

Леди Бритомарт. Вы не хотели подумать, Чарлз. Вы ни­когда не думаете и поэтому говорите совсем не то, что хотели сказать. А теперь, пожалуйста, выслушайте меня, дети. Ваш отец вас совсем не знает.

Ломэкс. Должно быть, он не видел Сару с тех пор, как она была малюткой.

Леди Бритомарт. Да, тогда она была малюткой, Чарлз, как вы изволили заметить с изяществом речи и благородством мысли, которые никогда вам не изменяют. Следовательно... э... (С досадой.) Ну вот я и забыла, что хотела сказать. А все это из-за вас, Чарлз! Вы сами напрашиваетесь, чтобы вас отбрили. Адольф, будьте любезны напомнить мне, на чем я остановилась.

Казенс (мягко). Вы говорили, что мистер Андершафт не видел своих детей с младенческих лет и будет судить о том, как вы их воспитали, по их поведению сегодня ве­чером, а поэтому вы желаете, чтобы мы вели себя как можно осмотрительнее, в особенности Чарлз.

Леди Бритомарт (с подчеркнутым одобрением). Вот именно.

Ломэкс. Послушайте, Долли, леди Брит этого не говорила.

Леди Бритомарт (энергично). Я это говорила, Чарлз. Адольф прекрасно все запомнил. Очень важно, чтобы вы вели себя хорошо. И я прошу вас хоть на этот раз не рассаживаться парочками по углам, не шептаться и не хихикать, пока я буду говорить с вашим отцом.

Барбара. Хорошо, мама. Мы постараемся. (Соскакивает со стола и садится на стул в изящной позе благовоспитан­ной девушки.)

Леди Бритомарт. Помните, Чарлз, что Сара должна гордиться вами, а не стыдиться вас.

Ломэкс. Ну, знаете ли! Было бы чем гордиться.

Леди Бритомарт. Так вот, постарайтесь, чтоб было чем гордиться.

Морисон, бледный и испуганный, врывается в комнату в явном расстройстве.

Морисон. Могу я просить вас на два слова, миледи?

Леди Бритомарт. Какие пустяки! Ведите его сюда.

Морисон. Слушаю, миледи. (Уходит.)

Ломэкс. Морисон знает, кто это?

Леди Бритомарт. Ну еще бы. Морисон — наш старый слуга.

Ломэкс. Вот, должно быть, глаза вытаращил!

Леди Бритомарт. Чарлз, неужели вы не нашли другого времени, чтобы раздражать меня вашими возмути­тельными словечками?

Ломэкс. Но ведь это действительно из ряда вон...

Морисон (в дверях). Э-э-э... Мистер Андершафт. (Отступает в смятении.)

Входит Эндру Андершафт. Все встают. Леди Бри­томарт встречает его на середине комнаты, позади кушетки.

С виду Эндру — пожилой, склонный к полноте и довольно безобидный джентльмен, любезный и внимательный в обращении, привлекательно простой по характеру. Но взгляд у него зоркий, решительный, подмечающий каждую мелочь, а широкая грудь и объемистый череп говорят о громадной силе, телесной и духовной. Его мягкость — это отчасти осторожность сильного человека, который по опыту знает, что его обычная хватка пугает людей, и потому он обращается с ними очень бережно; отчасти же эта мягкость объясняется примиряющим влиянием старости и успеха. В данную минуту его тоже стесняет неловкость положения.

Леди Бритомарт. Здравствуй, Эндру.

Андершафт. Как поживаешь, моя милая?

Леди Бритомарт. А ты порядком постарел.

Андершафт (извиняющимся тоном). Да. Я постарел, ми­лая. (Берет ее руку с оттенком галантности.) А вот тебя время пощадило.

Леди Бритомарт (отталкивая его руку). Пустяки! Вот твои дети.

Андершафт (в изумлении). Так много? К сожалению, па­мять мне кое в чем изменяет.

(Отечески благосклонно протягивает руку Ломэксу.)

Ломэкс (с силой трясет его руку). Как поживаете?

Андершафт. Ты, должно быть, мой старший сын? Очень рад тебя видеть, мой мальчик.

Ломэкс (протестуя). Нет, в самом деле... (Совершенно те­ряясь.) Вот тебе и раз!

Леди Бритомарт (оправившись после минутного остолбе­нения). Эндру, неужели ты не помнишь, сколько у тебя детей?

Андершафт. К сожалению, я... Они так выросли... Э-э... Разве я ошибся? Ну, так и быть, признаюсь, я помню только одного сына. Но с тех пор, разумеется, утекло столько воды... э-э...

Леди Бритомарт (решительно). .Эндру, ты говоришь глупости. Разумеется, у тебя только один сын.

Андершафт. Быть может, ты будешь так любезна и позна­комишь нас?

Леди Бритомарт. Это Чарлз Ломэкс, жених Сары.

Андершафт. Простите меня, дорогой мой.

Ломэкс. Ну что вы! Я очень рад, уверяю вас.

Леди Бритомарт. А вот это Стивен.

Андершафт (кланяясь). Рад с вами познакомиться, мистер Стивен. (Переходит к Казенсу.) Так, значит, это мой сын. (Берет обе руки Казенса в свои руки.) Ну, как пожи­ваешь, мой юный друг? (Леди Бритомарт) Очень по­хож на тебя, моя милая.

Казенс. Вы льстите мне, мистер Андершафт. Меня зовут Казенс, я помолвлен с Барбарой. (Вразумительно.) Вот это Барбара Андершафт, майор Армии спасения. Это Са­ра — ваша вторая дочь. Это Стивен Андершафт — ваш сын.

Андершафт. Извини меня, милый мой Стивен. Стивен. О, пожалуйста.

Андершафт. Мистер Казенс, я очень благодарен вам за точность разъяснения. (Саре.) Барбара, милая моя... Сара (подсказывает.) Сара.

Андершафт. Да, конечно, Сара.

Жмут друг другу руки.

(Он переходит к Барбаре.) Барбара, надеюсь, я не ошиб­ся на этот раз?

Барбара. Совершенно верно. (Жмет руку.)

Леди Бритомарт (вновь принимая командование). Сади­тесь. Сядь, Эндру. (Она под­хо­дит к кушетке и садится сама.)

Казенс берет стул и ставит слева от нее. Барбара и Сти­вен остаются на прежних местах. Ломэкс подает стул Саре и идет за другим.

Андершафт. Благодарю тебя, дорогая.

Ломэкс (фамильярно, ставя стул между письменным сто­лом и кушеткой и предлагая его Андершафту). А ведь правда, нелегко сразу разобраться?

Андершафт (берет стул, но не садится). Меня смущает не это, мистер Ломэкс. Затруднение в том, что если я буду играть роль отца, то произведу впечатление навязчивого незнакомца, а если буду играть роль тактичного незна­комца, могу показаться равнодушным отцом.

Леди Бритомарт. Эндру, тебе вовсе не нужно играть ни­какой роли. Держись ес­тес­твен­но и просто, так будет лучше.

Андершафт (покорно). Да, милая, пожалуй, это будет все­го лучше. (Усаживается поудобнее.) Ну, а теперь пого­ворим. Что же вам всем от меня нужно?

Леди Бритомарт. Нам ничего от тебя не нужно, Эндру. Ты член семьи. Сиди с нами и будь как дома.

Тягостное молчание. Барбара строит гримасы Ломэксу, который слишком долго сдерживался и теперь разра­жается сдавленным ржанием.

(Оскорбленно.) Чарлз Ломэкс, если можете, ведите себя прилично, а если не можете, выйдите из комнаты.

Ломэкс. Простите, ради бога, леди Брит, но, право... знаете ли, честное слово! (Садится на кушетку между леди Бритомарт и Андершафтом, совершенно обессилев от смеха.)

Барбара. Что же вы, Чолли? Смейтесь, когда хочется. Раз натура требует.

Леди Бритомарт. Барбара, тебе дали хорошее воспита­ние. Так покажи это отцу и не разговаривай, точно какая-нибудь уличная девчонка.

Андершафт. Не беспокойся, милая. Я ведь, знаешь ли, не джентльмен и воспитания не получил.

Ломэкс (поощрительно). А совсем незаметно, знаете ли. Вид у вас вполне приличный, уверяю вас.

Казенс. Позвольте дать вам совет, мистер Андершафт: учи­тесь греческому. Эллинисты — привилегированная публи­ка. Очень немногие из них знают греческий, и никто из них не знает ничего, кроме греческого, но авторитет их незыблем. Все остальные языки — достояние официантов и коммивояжеров, и только греческий для человека с по­ложением в обществе — то же, что проба для серебра.

Барбара. Долли, не ломайтесь! Чолли, принесите концерти­но и сыграйте нам что-нибудь.

Ломэкс (радостно вскакивает с места, но сдерживается и с сомнением обращается к Андершафту). А может, эта штука не по вашей части, а?

Андершафт. Я очень люблю музыку.

Ломэкс (в восторге). Да что вы? Тогда я сейчас принесу. (Уходит наверх за инструментом.)

Андершафт. Ты играешь, Барбара?

Барбара. Только на тамбурине. Впрочем, Чолли учит меня играть на концертино.

Андершафт. Чолли тоже в Армии спасения?

Барбара. Нет, он говорит, что это дурной тон. Впрочем, он подает надежды. Вчера я заставила его пойти на митинг к докам и собирать деньги в шляпу.

Андершафт многозначительно смотрит на жену.

Леди Бритомарт. Я тут ни при чем, Эндру, Барбара до­статочно взрослая, чтобы поступать по-своему. У нее нет отца, который мог бы ей советовать.

Барбара. Нет, есть. В Армии спасения не может быть сирот.

Андершафт. У вашего отца много детей и немалый опыт, а?

Барбара (смотрит на него с живым интересом и кивает). Совершенно верно. Как же вы это поняли? Слышно, как Ломэкс за дверью пробует концертино.

Леди Бритомарт. Входите, Чарлз. Сыграйте нам что-ни­будь.

Входит Ломэкс.

Ломэкс. Ладно! (Садится на прежнее место и начинает.)

Андершафт. Одну минуту, мистер Ломэкс. Меня интере­сует Армия спасения. Ее девиз мог бы быть и моим: кровь и огонь.

Ломэкс (шокированный). Но ведь это совсем другие кровь и огонь, знаете ли.

Андершафт. Мои кровь и огонь очищают.

Барбара. И наши тоже. Приходите завтра утром ко мне в убежище — Вестхэмское убежище — и посмотрите, что мы там делаем. Мы идем на большой митинг в зале со­браний на Майл-Энд. Приходите, вы посмотрите убежище и пойдете с нами на митинг; это будет вам очень полез­но. Вы умеете играть на чем-нибудь?

Андершафт. В юности я зарабатывал на улицах и в пивных немало пенсов и даже шиллингов благодаря природной способности к танцам. А несколько позже стал членом музыкального общества фирмы Андершафт и довольно сносно играл на тромбоне.

Ломэкс (скандализованный, опускает концертино). Ну, знае­те ли.

Барбара. В Армии спасения не один грешник доигрался на тромбоне до царства небесного.

Ломэкс (Барбаре, все еще шокированный). Да, знаете ли, а как же пушечный завод? (Андершафту.) Царство не­бесное ведь не совсем по вашей части, а?

Леди Бритомарт. Чарлз?

Ломэкс. Но ведь это же само собой разумеется, не так ли? Пушечный завод, может быть, и нужен и все такое, без пушек нам не обойтись, — а все-таки нехорошо, знаете ли. А с другой стороны, в Армии спасения, может, и много всякой чепухи, — я сам принадлежу к англиканской церк­ви, — но согласитесь, что это как-никак религия; а ведь нельзя же быть против религии, верно? Разве уж какой-нибудь самый безнравственный человек будет против, знаете ли.

Андершафт. Не думаю, чтобы вы правильно оценивали мое положение, мистер Ломэкс...

Ломэкс (торопливо). Лично против вас я ничего не имею...

Андершафт. Вот именно, вот именно. Однако подумайте немножко. Я наживаюсь на убийствах и увечьях. Сейчас я в особенно благодушном настроении, потому что нын­че утром на заводе мы разнесли вдребезги двадцать семь манекенов из орудия, которое прежде уничтожало только тринадцать.

Ломэкс (снисходительно). Ну что ж, чем разрушительнее становятся войны, тем скорее они прекратятся, верно?

Андершафт. Ничего подобного. Чем разрушительнее вой­на, тем больше в ней увлекательного. Нет, мистер Ло­мэкс, я вам чрезвычайно обязан за то, что вы постара­лись найти оправдание моему ремеслу, но я его не стыжусь. Я не из тех людей, у которых мораль и профес­сия отделены друг от друга водонепроницаемыми пере­борками. Все лишние деньги, которые мои конкуренты, для успокоения нечистой совести, жертвуют на боль­ницы, соборы и прочее, я трачу на опыты и исследова­ния, совершенствующие методы уничтожения жизни и имущества. Я всегда так делал и буду делать, а потому ваши азбучные истины насчет «мира на земле и в человецех благоволения» мне ни к чему. С вашим христианским учением, которое предписывает не противиться злу и подставлять другую щеку, я обанкротился бы. В моей морали, в моей религии должно быть место пушкам и торпедам.

Стивен (холодно, почти злобно). Вы говорите так, как будто можно выбирать из десятка религий и моральных си­стем, тогда как есть только одна истинная религия и од­на истинная мораль.

Андершафт. Для меня есть только одна истинная мораль, но вам она, возможно, не подойдет, потому что вы не фабрикуете боевые корабли. Для каждого человека суще­ствует только одна истинная мораль, но у всех она разная.

Ломэкс (силится понять и не может). Не повторите ли вы это еще раз? Я что-то не совсем понял.

Казенс. Очень просто. Еврипид говорит: «Что одному по­лезно, то для другого — яд», и в умственном и в физиче­ском отношении.

Андершафт. Совершенно верно.

Ломэкс. Ах, вот что! Да, да, да. Так, так, так.

Стивен. Другими словами, есть честные люди и есть него­дяи.

Барбара. Нет. Ни одного. Нет ни хороших людей, ни него­дяев, есть только дети одного отца; и чем скорее они перестанут осыпать друг друга бранью, тем будет лучше. Не спорьте со мной, я знаю людей. Через мои руки про­шли десятки: негодяи, преступники, атеисты, филан­тропы, миссионеры, члены совета, всякого рода люди. Все они равно грешники, и всем им равно уготовано спасение.

Андершафт. А приходилось ли тебе спасать фабриканта пушек?

Барбара. Нет. Вы позволите мне попытаться?

Андершафт. Что ж, давай заключим условие. Я навещу те­бя завтра в убежище Армии спасения, а ты должна прий­ти ко мне послезавтра на орудийный завод.

Барбара. Берегитесь! Это может кончиться тем, что вы бро­сите пушки ради Армии спасения.

Андершафт. А ты уверена, что не бросишь Армию спасе­ния ради пушек?

Барбара. Ну что ж, я рискну.

Андершафт. Я тоже.

Жмут друг другу руки.

Где твое убежище?

Барбара. В Вестхэме. Под вывеской креста. Спросите кого угодно в Кеннингтауне. А где ваш завод?

Андершафт. В Перивэйл Сент-Эндрюс. Под вывеской ме­ча. Спроси кого угодно в Европе.

Ломэкс. Может быть, все-таки сыграть что-нибудь?

Барбара. Да, сыграйте «Вперед, о воины Христа».

Ломэкс. Ну, для начала, знаете ли, это, пожалуй, слишком сильно. Не сыграть ли «Брат, ты переходишь в мир иной»? Мотив почти тот же.

Барбара. Уж слишком он грустный. Вот когда вы спасетесь, Чолли, вы перейдете в мир иной, не поднимая такого шума.

Леди Бритомарт. Право, Барбара, послушать тебя, так религия — только за­ни­ма­тель­ный предмет для разговора. Надо же иметь хоть какое-то чувство приличия.

Андершафт. Я бы не сказал, что это незанимательный предмет, милая. Умных людей только это и занимает по-настоящему.

Бритомарт (взглядывая на часы). Что ж, если так, я решительно настаиваю, чтоб это было сделано как по­лагается. Чарлз, позвоните к молитве.

Общее смятение. Стивен поднимается в испуге.

Ломэкс (вставая). Ну, знаете ли!

Андершафт (вставая). Боюсь, что мне пора уходить.

Леди Бритомарт. Теперь тебе нельзя уйти, Эндру, это было бы в высшей степени неприлично. Садись. Что по­думает прислуга?

Андершафт. Не могу, милая, меня одолевают религиозные сомнения. Нельзя ли предложить компромисс? Если Бар­бара проведет небольшое богослужение в гостиной с ми­стером Ломэксом в качестве органиста, я с удоволь­ствием буду присутствовать. Могу даже принять актив­ное участие, если найдется тромбон.

Леди Бритомарт. Не издевайся, Эндру.

Андершафт (шокированный, Барбаре). Надеюсь, ты не ду­маешь, что это насмешка, дорогая моя?

Барбара. Нет, конечно; а впрочем, и это не беда: половина нашей армии в первый раз пришла на митинг забавы ра­ди. (Вставая.) Идем. (Обнимает отца и, уводя его, зо­вет других.) Идем, Долли. Идем, Чолли.

Казенс встает.

Леди Бритомарт. Я не потерплю такого непослушания. Адольф, сядьте.

Он не садится.

Чарлз, вы можете идти. Вам нельзя присутствовать на молитве — вы не в состоянии вести себя прилично.

Ломэкс. Ну, знаете ли! (Уходит.)

Леди Бритомарт (продолжает). А вы, Адольф, умеете держать себя, когда захотите; я желаю, чтобы вы остались.

Казенс. Дорогая леди Брит, в семейном молитвеннике есть слова, которые я не желал бы слышать из ваших уст.

Леди Бритомарт. Какие же это слова?

Казенс. Вам придется сказать при всей прислуге, что мы де­лали многое, чего не должны были делать, и не сделали того, что должны были сделать, и что в нас мало добро­го. Этого я не могу слышать, это несправедливо по отно­шению к вам, несправедливо по отношению к Барбаре. Что же касается меня лично, то я решительно протестую: я сделал все, что мог. Иначе я не смел бы женить­ся на Барбаре, не мог бы смотреть вам в глаза. И пото­му я должен идти в гостиную.

Леди Бритомарт (оскорбленная). Хорошо, идите.

Казенс делает шаг к двери.

И запомните, Адольф...

Он оборачивается.

Я сильно подозреваю, что вы вступили в Армию спасе­ния только ради Барбары, ни для чего больше. Я отдаю должное ловкости, с которой вы водите меня за нос. Но я вас раскусила. Смотрите, чтоб не раскусила и Барбара. Вот и все.

Казенс (с невозмутимой кротостью). Не выдавайте меня, леди Брит. (Выскальзывает из комнаты.)

Леди Бритомарт. Сара, никто не мешает тебе уйти. Это будет гораздо лучше, чем сидеть с таким видом, точно тебе хочется быть где угодно, только не здесь.

Сара (томно). Хорошо, мама. (Уходит.)

Леди Бритомарт порывистым движением прикладывает к глазам платок.

Стивен (бросается к ней). Мама, что с вами?

Леди Бритомарт (смахивает слезы). Ничего. Глупости. Иди и ты к нему, если хочешь, и оставь меня с прислугой.

Стивен. О, ради бога, не думайте так, мама. Мне... Мне он не по душе.

Леди Бритомарт. А другим по душе. Вот как неспра­ведлива к женщине судьба. Женщина воспитывает детей, то есть сдерживает их порывы, отказывает им в том, че­го им хочется, задает им уроки, наказывает их за про­ступки, берет на себя все неприятные обязанности. А по­том, когда ее дело сделано, является отец, который только баловал и портил их, и отнимает у нее любовь детей.

Стивен. Нашей любви он у вас не отнимет. Это просто любопытство.

Леди Бритомарт (резко). В утешении я не нуждаюсь, Стивен. Ровно ничего не слу­чи­лось. (Встает и идет к двери.)

Стивен. Куда вы, мама?

Леди Бритомарт. В гостиную, разумеется. (Выходит из комнаты.)

Когда она открывает дверь, слышно, как на концертино играют «Вперед, о воины Христа» под аккомпанемент тамбурина.

Ты идешь, Стивен?

Стивен. Нет, не иду.

Она уходит. Он садится на кушетку, поджав губы, с вы­ражением сильнейшего неодобрения.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Во дворе Вестхэмского убежища Армии спасения довольно холодно в это январское утро. Само здание убежища — старый склад — только что побелено известкой. Фасад его выходит на середину двора; в нижнем этаже — дверь, другая — в верхнем, чердачном этаже, без балкона и без лестницы, но с блоком для втаскивания наверх мешков. Если выйти из двери нижнего этажа во двор, налево — во­рота на улицу, за воротами — каменная кормушка для ло­шадей, направо — стол под навесом, защищающим его от непогоды. Возле стола лавки; на одной из них сидят мужчина и женщина. И ей и ему, как видно, сильно не везет в жизни; они кончают завтрак — у каждого по толстому ломтю, намазанному маргарином с патокой, и по кружке воды с молоком.

Мужчина — ремесленник без работы, говорун и позер, еще молодой, юркий и достаточно сообразительный, чтобы быть способным на все, кроме честности ы каких бы то ни было альтруистических побуждений. Женщина — обык­новенная старая карга, побирушка, олицетворение нищеты и отверженности. На вид ей лет шестьдесят, на самом деле, вероятно, лет сорок пять. Если б это были богатые люди, в перчатках и с муфтами, укутанные в меха, они закоченели бы и чувствовали бы себя несчастными: январ­ский холод пронизывает до костей. После первого же взгляда на грязные строения складов на заднем плане и на свинцовое небо над выбеленными стенами двора любой со­стоятельный бездельник умчался бы на берега Средизем­ного моря. Но этих двоих тянет к Средиземному морю не больше, чем на луну; и так как они вынуждены дер­жать платье в закладе чаще, чем надевать его на себя, в особенности зимой, то холод их не угнетает, а, скорее, придает им бодрости, которая после еды переходит чуть ли не в веселье. Мужчина, отхлебнув из кружки, встает и прохаживается по двору, глубоко засунув руки в кар­маны и время от времени приплясывая.

Женщина. Ну как, после еды полегче стало?

Мужчина. Нет. Какая это еда! Вам это еще куда ни шло, годится, а мне, рабочему че­ло­ве­ку, — тьфу! и больше ничего.

Женщина. Рабочему человеку? А вы кто же такой будете?

Мужчина. Я? Живописец.

Женщина (скептически). Вот как? Скажите пожалуйста!

Мужчина. И скажу! Конечно, теперь всякий лодырь назы­вает себя живописцем. Ну а я так настоящий живописец, все что угодно могу разделать и под мрамор и под дуб. Мне цена тридцать восемь шиллингов в неделю, когда бывает работа.

Женщина. Так почему же вы здесь? Пошли бы да нанялись на работу.

Мужчина. Я вам объясню, почему. Во-первых, я не дурак... Ф-фу, ну и чертов же холод здесь! (Приплясывает.) Да, гораздо умнее, чем полагается быть в том звании, какое мне определили господа капиталисты; они ведь не любят, когда их видишь насквозь. Во-вторых, умному человеку тоже хочется пожить всласть; так что, если подвер­нется случай, я и выпить могу как следует, на совесть. В-третьих, я стою за интересы рабочего класса и потому стараюсь сделать поменьше, чтоб побольше работы до­сталось моим товарищам. В-четвертых, у меня хватает смекалки сообразить, за что ответишь по закону, а за что нет. Вот я и поступаю, как капиталисты: тащу все, что ни подвернется, если вижу, что мне это с рук сой­дет. Пока дела хороши, я человек трезвый, работящий и честный; как говорится — из дюжины не выкинешь. Ну а что толку? Когда дела плохи — а сейчас они из рук вон - и хозяевам приходится увольнять половину рабочих, так начинают всегда с меня.

Женщина. Как вас зовут?

Мужчина. Прайс. Бронтер О'Брайен Прайс. Обыкновенно зовут Снобби Прайс, для краткости.

Женщина. Ведь это все равно что столяр, кажется? А вы говорили, будто вы живописец.

Прайс. Нет, это не все равно что столяр, а подымай выше. Я себе цену знаю, потому что я человек умный, да и отеи у меня был чартист, начитанный, просвещенный человек; как-никак, держал писчебумажную лавочку. Я вам не ка­кой-нибудь дровокол или там водовоз, зарубите себе на носу. (Подходит к своему месту за столом и берется зй кружку.) А вас как зовут?

Женщина. Ромми Митченс.

Прайс (осушая кружку до дна). Ваше здоровье, мисс Мит­ченс.

Ромми (поправляя его). Миссис Митченс.

Прайс. Как! Ах, Ромми, Ромми! Почтенная замужняя жен­щина, а прикидывается шлюхой, чтоб ее спасала Армия спасения. Стара штука!

Ромми. А что мне делать? Не с голоду же помирать. Эти барышни в Армии спасения такие милые, такие добрые, а только им нравится думать, что ты была бог знает ка­кая, самая последняя, пока они тебя не спасли. Так поче­му же не уважить их, бедненьких? Они тут прямо замучи­лись с работой. И кто бы им дал денег на Армию спасения, если бы мы проговорились, что мы ничем не хуже других? Известно, что за народ эти леди и джентль­мены.

Прайс. Свиньи и мошенники, больше ничего. Ну, а все же хотел бы я быть на их месте, Ромми. А что значит Ром­ми? Прозвище такое, что ли?

Ромми. Это для краткости, вместо Ромола.

Прайс. Вместо чего?

Ромми. Ромола. Имя из какой-то книжки. Матери хотелось, чтоб я была похожа на эту самую Ромолу.

Прайс. Мы с вами товарищи по несчастью, Ромми. У нас такие имена, что никому не выговорить. Билл и Салли было не по вкусу нашим родителям, так вот я теперь Снобби, а вы Ромми. Ну и жизнь!

Ромми. Кто вас спасал, мистер Прайс? Майор Барбара?

Прайс. Нет, я сам, по своей охоте. Теперь я буду Бронтер О'Брайен Прайс — обращенный живописец. Уж я знаю, что им по вкусу. Я расскажу им, какой я был ругатель, картежник, как бил мою несчастную старуху мать...

Ромми (шокированная). Неужели вы били вашу мать?

Прайс. Ничего подобного. Она сама меня поколачивала. Да это не беда. Приходите-ка послушать обращенного живо­писца, тогда узнаете, какая она была наложная женщина, как сажала меня к себе на колени и учила молиться, как я приходил домой пьяный, вытаскивал ее из кровати за волосы, белые, как снег, и тузил кочергой.

Ромми. Ведь вот как это несправедливо! Всегда нас, жен­щин, обижают. Сами вы врете почище нашего: мастера разводить турусы на колесах. Только вам, мужчинам, можно врать на митингах, при всей публике, и с вами из- за этого носятся; а тут взвалишь на себя напраслину, да и шепчи ее на ушко всем барышням по очереди. Хоть они и набожные, а все-таки нехорошо это с их стороны.

Прайс. Правильно! Что же вы думаете, разве дозволили бы Армию спасения, если бы все у них делалось как надо? Вряд ли. Они нас тут приглаживают да причесывают, вы­водят в люди, чтоб можно было потом надувать да гра­бить. Только я тоже малый не промах. Скажу, будто ви­дел, как одного грешника на месте убило молнией, или будто слышал голос: «Снобби Прайс, куда ты пойдешь после смерти?» Уж потешусь вволю, верьте слову.

Ромми. Ну, пить-то вам не позволят все-таки.

Прайс. Так я это наверстаю на проповедях. Зачем мне пить, если можно развлекаться как-нибудь по-другому.

Дженни Хилл, миловидная девушка лет восемнадцати, бледная и усталая, входит в ворота, ведя Питера Шерли, худого и измученного старика рабочего; от го­лода он едва стоит на ногах.

Дженни (поддерживая Питера). Ну, ну, ничего. Сейчас я принесу вам поесть. Вам станет легче.

Прайс (встает и услужливо спешит принять старика из рук Дженни). Несчастный старик! Возвеселись, брат, здесь ты обретешь отдых, мир и счастье. Скорее несите зав­трак, мисс, он с ног валится.

Дженни торопливо уходит в здание.

Ну же, встряхнись, папаша, сейчас она тебе притащит ку­сок хлеба с патокой да воды с молоком. (Сажает его за стол.)

Ромми (игриво). Что нос повесил, старичок? Гляди веселей!

Шерли. Я не старик. Мне всего сорок шесть лет. Какой я был, такой и остался. А седина у меня с тридцати лет. На три пенса краски для волос — только всего и нужно; что же, неужели подыхать из-за этого на улице? Боже ты мой! Я с тринадцати лет работаю по десять-двенадцать часов в день, никому ни гроша не должен; так неужели надо меня выбросить на свалку, а работу мою отдать ка­кому-нибудь мальчишке, который ее изгадит? А поче­му? Я же не виноват, что у меня волосы раньше времени поседели.

Прайс (ободряюще). Что толку ныть, инвалид ты не­счастный! Вышвырнули тебя, выту­ри­ли, дали тебе по шее, кому ты теперь нужен? Пусть эти жулики хоть обе­дом тебя накормят, посчитай-ка, сколько обедов они у тебя украли! Хоть что-нибудь из своего вернешь.

Дженни возвращается с хлебом и молоком.

Ну, брат мой, помолись и принимайся за угощение.

Шерли (смотрит с жадностью, но не дотрагивается до еды и плачет, как ребенок). Я никогда не брал ничего даром.

Дженни (уговаривает.) Ну, ну! Это вам господь посылает, он же не гордился и брал хлеб у своих друзей, почему же и вам не взять? А если хотите, вы нам можете заплатить, когда найдете работу.

Шерли (оживляясь). Да, да, верно. Я могу заплатить вам, это я беру взаймы. (Он весь дрожит.) О господи, госпо­ди! (Повертывается к столу и с жадностью набрасы­вается на еду.)

Дженни. Ну, Ромми, теперь вы лучше себя чувствуете?

Ромми. Благослови вас бог, милочка! Вы напитали мое тело и спасли мою душу.

Дженни, тронутая, целует ее.

Присядьте, отдохните немножко, вы, верно, ног под со­бою не чуете.

Дженни. Я с утра еще ни разу не присела. Такая масса ра­боты, что мы не в состоянии справиться. Нет, мне нельзя отдыхать.

Ромми. Помолитесь минутку-две, тогда и работа покажется легче.

Дженни (просияв). Да, просто удивительно, как минутная молитва возрождает человека! К двенадцати часам я так устала, что голова у меня кружилась, но майор Барбара послала меня помолиться, и я сразу почувствовала в себе новые силы. (Прайсу.) Получили вы хлеб?

Прайс (елейным тоном). Да, мисс; и я получил не один только хлеб, но и мир, который вы­ше разумения челове­ческого.

Ромми (с жаром). Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе боже!

Билл Уокер, подозрительная лич­ность лет двадцати пяти, показывается в воротах и недоброжелательно смо­трит на Дженни.

Дженни. Для меня счастье это слышать. После ваших слов я чувствую, что грешно с моей стороны бездельничать здесь. Работать, работать! (Она торопливыми шагами идет к дому.)

Билл нагоняет ее и преграждает ей дорогу; он держится мак вызывающе, что Дженни пятится от него, а он на­ступает с угрожающим видом и загоняет ее в глубь двора.

Билл. Знаю я тебя! Это ты мою девчонку сманила. Это ты ей на меня наговариваешь. Ну так я ее из-под земли добуду, хоть и не больно-то она мне нужна, да и ты тоже. Поня­ла? А все-таки я ее проучу, да и тебя заодно. Дам ей хо­рошую трепку, узнает тогда, как от меня бегать. Ступай скажи ей, чтоб вышла ко мне, не то я сам приду и вы­швырну ее вон. Скажи, Билл Уокер ее требует. Она уж знает, что это значит. А заставит меня дожидаться, еще хуже будет. Ты со мной не разговаривай, а то я с тебя начну. Ступай! Кому говорят! Ну! (Хватает Дженни за руку и толкает к дверям убежища.)

Дженни падает на руку и колено. Ромми помогает eй подняться.

Прайс (встает и нерешительно направляется к Биллу). По­легче, приятель. Она тебе ничего не сделала.

Билл. Это кто тебе приятель? (Надвигается на него с угро­жающим видом.) Защитник выискался тоже! Лучше не суйся!

Ромми (подбегает и набрасывается на него). Ах ты ско­тина!..

Билл, размахнувшись левой рукой, ударяет Ромми по ще­ке. Она вскрикивает и, шатаясь, идет к кормушке, садит­ся и, прикрывая разбитое лицо, качается и стонет от боли.

Дженни (подходит к ней.) Прости вас боже! Как вы могли ударить старую женщину?

Билл (схватив ее за волосы с такой силой, что она тоже вскрикивает, оттаскивает ее от старухи). Сунься-ка еще раз с этим твоим прощением, так я тебя так прощу по роже, на неделю забудешь молиться. (Не выпуская Дженни, свирепо поворачивается к Прайсу.) Может, тебе это тоже не по вкусу?

Прайс (оробев). Нет, приятель, она мне совсем чужая.

Билл. Счастье твое! А то тебя еще два дня кормить нужно, да и тогда я тебя одним плевком перешибу, сморчок эта­кий! (Дженни). Что ж ты, приведешь ко мне мою дев­чонку или дождешься, пока я тебе набью морду и сам пойду?

Дженни (стараясь вырваться). О, ради бога, подите кто-ни­будь в дом и скажите майору Барбаре...

Билл дергает ее за волосы, и она снова вскрикивает — Прайс и Ромми бегут в дом.

Билл. А, так ты жаловаться своему майору?

Дженни. Ради бога, не дергайте меня за волосы. Пустите меня.

Билл. Будешь жаловаться или нет?

Дженни (подавляет крик). Боже, дай мне силы...

Билл (бьет ее кулаком по лицу). Поди-ка покажись ей, и если ей хочется того же, пускай придет, попробует со мной поговорить.

Дженни, плача от боли, уходит.

(Подходит к скамье и говорит старику.) Ну, кончай жрать, надоел ты мне.

Шерли (вскакивает с кружкой в руках и злобно смотрит на него). Попробуй только тронь меня, я тебя хвачу вот этой кружкой! Мало вам, щенкам этаким, что вы кусок хлеба вырываете изо рта у стариков, которые вас расти­ли да работали на вас, как каторжные, вы еще сюда при­ходите драться и буянить, а тут и без вас даровой кусок хлеба поперек горла становится.

Билл (презрительно, но все же отступая назад). Куда ты го­дишься, паралитик несчастный? Ну куда ты годишься?

Шерли. Туда же, куда и ты, да еще получше тебя. В работе тебе за мной не угнаться, да и никому из вас, молодых пьяниц. Поди-ка наймись на мое место к Хороксу, где я работал десять лет. Им требуются молодые люди, они не могут держать рабочих старше сорока пяти лет. Они стариков жалеют, и рекомендацию дадут, и обещают най­ти что-нибудь подходящее для твоих лет, как же! Разве солидный, непьющий человек долго будет сидеть без ме­ста? Что ж, пускай попробуют взять тебя. Узнают разни­цу. Что ты умеешь? Вести себя прилично и то не умеешь! Грязным кулачищем заехал по скуле порядоч­ной женщине!

Билл. Смотри, как бы я тебе не заехал!

Шерли (с уничтожающим презрением). Да, вот это как раз по тебе — избил женщину, теперь за старика примешься. Посмотрел бы я, как-то ты с молодым справишься!

Билл (задетый). Врешь ты, старый попрошайка. Был тут и молодой. Предлагал я ему драться или нет?

Шерли. Да ведь он едва жив с голодухи! Разве это мужчина? Просто жулик и лодырь! А вот у моего зятя есть брат, попробуй-ка с ним схватись!

Билл. Кто он такой?

Шерли. Тоджер Фэрмайл из Болс-Понда. Тот, кто выиграл двадцать фунтов у японского борца в мюзик-холле; он не сдавался семнадцать минут и четыре секунды.

Билл (угрюмо). Я не борец из мюзик-холла. А на кулаках драться он умеет?

Шерли. Да он-то умеет, а вот ты — нет.

Билл. Чего? Я не умею? Болтай еще тут! (Замахивается на него.)

Шерли (не двигаясь с места). Будешь ты драться с Тоджером Фэрмайлом, если я его уговорю? Да или нет?

Билл (неуклюже отступая). Пусть хоть десять Тоджеров придут, я со всеми справлюсь, хоть и не выдаю себя за боксера.

Шерли (смотрит на него сверху вниз с невыразимым презре­нием). Тоже боксер! Двинул старуху по роже! Смекалки не хватило ударить ее так, чтобы судье было незаметно. Невежа, щенок безмозглый! Ударил девушку по скуле, а она всего только заплакала! Если б Тоджер ее двинул, она бы минут десять не могла подняться; да и ты тоже, попадись ему под руку. Я и сам бы тебе задал как сле­дует, если б пришлось обедать хоть неделю подряд, а не голодать два месяца. (Поворачивается к Биллу спиной и угрюмо садится к столу.)

Билл (идет вслед за ним и наклоняется к нему, стараясь уяз­вить посильнее). Врешь! Ты сыт — выклянчил тут хлеба с патокой и нажрался.

Шерли (разражаясь слезами). О господи! Это сущая правда, я просто попрошайка на свалке. (В ярости.) И ты до этого дойдешь — тогда узнаешь. Ты до этого раньше моего дойдешь: я ни капли не пью, а ты с раннего утра наливаешься джином.

Билл. Вовсе я не пьяница, старый ты враль! Когда я хочу за­дать своей девчонке хорошую взбучку, я люблю, чтобы во мне злость была, понимаешь? А вместо того чтоб за­дать ей как следует, я вот стою тут и разговариваю с то­бой, сволочь ты этакая! (Приходя в бешенство.) Ну, сей­час я ее вытащу оттуда. (Яростно устремляется к двери убежища.)

Шерли. Сейчас тебя потащат на носилках в полицейский уча­сток, это скорей всего; там из тебя повытрясут и хмель и злость. Ну куда ты суешься, ведь здешний майор — графская внучка.

Билл (пораженный). Да ну!

Шерли. Вот тебе и ну!

Билл (решительность его начинает убывать). Так я ей ниче­го не сделал.

Шерли. А если она скажет, что сделал? Кто тебе поверит?

Билл (ему становится не по себе; он забивается в угол под навесом). Господи! Нет спра­вед­ливости в этой стране. Подумать только, ведь эти люди что хотят, то и делают. А чем она лучше меня?

Шерли. Ты так ей и скажи. У тебя глупости хватит.

Барбара, оживленная и деловитая, выходит из убежи­ща с блокнотом в руках и обращается к Шерли. Билл, оробев, садится на краешек скамьи и поворачивается к ним спиной.

Барбара. Доброе утро.

Шерли (вставая и снимая шляпу). Доброе утро, мисс.

Барбара. Сидите, сидите, будьте как дома. Он не решается сесть.

(Дружески кладет ему руку на плечо и заставляет сесть.) Ну вот! Теперь, когда вы с нами подружились, мы хотим узнать о вас побольше. Фамилию, адрес, род занятий.

Шерли. Питер Шерли. Монтер. Уволен два месяца тому назад за то, что слишком стар.

Барбара (нисколько не удивляясь). Вы еще ничего. Почему вы не красите волосы?

Шерли. Я красил. Пришлось сказать, сколько мне лет, когда умерла моя дочь и следователь производил следствие.

Барбара. Трезвого поведения?

Шерли. Непьющий. Никогда еще не сидел без работы. Хоро­ший работник. И вот послали на живодерню, как старую клячу.

Барбара. Не беда. Если вы не забыли бога, и бог вас не забудет.

Шерли (вдруг заупрямившись). Моя вера никого не касается, это мое личное дело.

Барбара (догадываясь). Понимаю. Свободомыслящий?

Шерли (с горячностью). А разве я это отрицаю?

Барбара. Зачем же отрицать? Вот и мой отец такой же. Пути господни неисповедимы; наш с вами отец знал, зачем он сделал вас свободомыслящим. Не унывайте, Питер, мы всегда сможем подыскать работу для такого степенного, непьющего человека, как вы.

Шерли, обескураженный и несколько сбитый с толку, под­носит руку к шляпе.

(Переходит к Биллу.) Ваша фамилия?

Билл (дерзко). А вам какое дело?

Барбара (спокойно записывает). Боится назвать фамилию. Профессия есть?

Билл. Кто это боится назвать фамилию? (С ожесточением, героически бросая вызов палате лордов в лице графа Стивенэджа.) Хотите подать на меня в суд, так подавайте.

Барбара невозмутимо ждет.

Меня зовут Билл Уокер.

Барбара (стараясь припомнить, где она слышала это имя). Билл Уокер? (Вспоминает.) Ах да, знаю: вы тот, за кого молится сейчас Дженни Хилл. (Записывает его фами­лию в блокнот.)

Билл. Кто такая Дженни Хилл? И кто ее просил за меня мо­литься?

Барбара. Не знаю. Может быть, это вы разбили ей губу?

Билл (вызывающе). Да, это я разбил ей губу. Не боюсь я вас.

Барбара. Что ж тут удивительного, если вы и бога не бои­тесь. Храбрый вы человек, мистер Уокер. Чтобы рабо­тать здесь, нужно быть не робкого десятка, но никто из нас не посмел бы поднять руку на такую девушку из страха перед отцом небесным.

Билл (угрюмо). Не хочу я слушать эти поповские бредни. Вы, может, думаете, я клянчить сюда пришел, как эти ва­ши убогие? Ничего подобного. Не нужно мне вашего хлеба с помоями. Не верю я в вашего бога, да и вы сами в него не верите.

Барбара (жизнерадостным, любезным тоном светской дамы, совершенно по-новому). Ах, простите, что я записа­ла вашу фамилию, мистер Уокер. Я не поняла. Я вычерк­ну ее.

Билл (принимая это как оскорбление, глубоко уязвленный). Оставьте-ка мою фамилию в покое. Не так уж она плоха, чтобы не годилась для вашей книжки.

Барбара (рассудительно). Видите ли, не стоит записывать вашу фамилию, раз я ничего не могу для вас сделать. Чем вы занимаетесь?

Билл (все еще обиженно). Не ваше дело.

Барбара. Совершенно верно. (Очень деловито.) Я запишу вас как человека, который ударил бедную Дженни Хилл по губе.

Билл (встает с угрожающим видом). Эй, послушайте, хватит с меня.

Барбара (жизнерадостно и бесстрашно). Зачем вы к нам пришли?

Билл. Пришел за моей девчонкой, понятно? Хочу забрать ее отсюда и набить ей морду.

Барбара (снисходительно). Вот видите, я не ошиблась на­счет вашей профессии.

Билл хочет протестовать, но голос его срывается, и, к великому своему стыду и страху, он готов заплакать. Он снова садится на место.

Как ее зовут?

Билл (угрюмо). Ее зовут Мэг Эбиджем, вот как ее зовут.

Барбара. Мэг Эбиджем! Она в Кеннингтауне, в наших казармах.

Билл (возмущение вероломством Мэг придает ему силу). Вот оно как? (Мстительно.) Тогда я пойду за ней в Кеннингтаун. (Идет к воротам, останавливается в нерешительно­сти; наконец, возвращается к Барбаре.) Врете небось, лишь бы отвязаться от меня?

Барбара. Я вовсе не хочу от вас отвязаться. Я хочу, чтобы вы остались здесь и спасли вашу душу. Лучше остань­тесь; солоно вам придется сегодня, Билл.

Билл. Это кто же мне насолит? Вы, что ли?

Барбара. Тот, в кого вы не верите. Зато после вам будет хорошо.

Билл (ретируясь). Пойду-ка я в Кеннингтаун, подальше от ва­шей болтовни. (Вдруг оборачивается к ней, очень злобно.) А если не найду там Мэг, то вернусь сюда: так и быть, отсижу за вас два года, убей меня бог!

Барбара (еще мягче, если возможно). Не стоит, Билл. Она нашла себе другого парня.

Билл. Это кого же?

Барбара. Одного из обращенных ею. Он влюбился в нее, когда увидел ее чистую душу, просветленное лицо и вы­мытые волосы.

Билл (в изумлении). Для чего это она их вымыла, рыжая дрянь? Они у нее красные, как морковь!

Барбара. Они теперь очень красивые, потому что в глазах у нее новое выражение. Какая жалость, что вы опоздали. Этот парень натянул вам нос, Билл.

Билл. Я ему натяну! Не больно-то она мне нужна. Это вы знайте. А все-таки я ее проучу, чтоб не гнушалась мной. И его проучу, чтоб не лез. Как его зовут?

Барбара. Сержант Тоджер Фэрмайл.

Шерли (злорадно вскакивая). Я пойду с ним, мисс. Посмо­трю, как-то они встретятся. А когда все кончится, я свезу его в больницу.

Билл (к Шерли, с нескрываемым опасением). Это тот самый, что ты говорил?

Шерли. Он самый.

Билл. Тот, что боролся в мюзик-холле?

Шерли. Состязания в национальном спортивном клубе дава­ли ему чуть не сотню в год. Теперь он их бросил из-за религии; у него, верно, руки чешутся, давно не был в де­ле. Вот обрадуется. Идем.

Билл. Сколько в нем весу?

Шерли. Тринадцать стоунов четыре фунта.

Последняя надежда Билла рушится.

Барбара. Ступайте поговорите с ним, Билл. Он вас обратит.

Шерли. Обратит твою голову в яичницу.

Билл (угрюмо). Не боюсь я его. Никого я не боюсь. А только он меня побьет — это как пить дать. Подвела она меня. (В унынии садится на край кормушки.)

Шерли. Значит, ты не идешь? Так я и думал. (Садится снова.)

Барбара (зовет). Дженни!

Дженни (появляется в дверях убежища; на губе у нее пластырь). Слушаю, майор.

Барбара. Пришлите Ромми Митченс убрать здесь.

Дженни. Она боится.

Барбара (на мгновение в ней вспыхивает сходство с ма­терью). Глупости! Пускай делает, что ей приказано.

Дженни (зовет). Ромми! Майор велит вам идти сюда.

Дженни подходит к Барбаре, стараясь держаться ближе к Биллу, чтобы он не подумал, что она боится его или обижена.

Барбара. Бедняжка Дженни! Вы устали? (Взглядывая на разбитую губу.) Больно?

Дженни. Нет, теперь не больно. Пустяки.

Барбара (критически). Он постарался, видно. Бедный Билл! Вы ведь не сердитесь на него?

Дженни. О нет, нет, я не сержусь, господь его благослови!

Барбара целует ее. Дженни весело убегает в дом. Билл корчится от нового приступа своей странной и мучительной болезни, но молчит. Из убежища выходит Ромми Митченс.

Барбара (идет ей навстречу). Ну, Ромми, поторопитесь. Возьмите эти кружки и тарелки и вымойте, а крошки бросьте птицам.

Ромми берет тарелки и кружки, но Шерли отнимает у нее свою кружку, где еще осталось молоко.

Шерли. Какие там крошки! Не такое теперь время, чтобы выбрасывать хлеб птицам.

Прайс (появляется в дверях убежища). Майор, там какой-то джентльмен пришел смотреть убежище. Говорит, что он ваш отец.

Барбара. Хорошо. Сейчас приду.

Снобби уходит. Барбара идет за ним.

Ромми (подходит крадучись к Биллу и говорит ему шепотом, но с глубочайшим убеждением в голосе). Я бы тебе пока­зала, боров ты лопоухий, только она мне не позво­лила. Какой ты джентльмен, если бьешь женщину по лицу.

Билл, переживающий душевный переворот, не обращает на нее внимания.

Шерли (бежит за Ромми). Ну, ну! Ступай в дом, а то нажи­вешь еще беды своей болтовней.

Ромми (свысока). Я не имела удовольствия с вами познакомиться, сколько помню.

(Захватив тарелки, уходит в убежигце.)

Шерли. Вот это так...

Билл (свирепо). Не разговаривай со мной, слышишь? От­стань от меня, не то я наделаю бед. Что я тебе? Грязь под ногами, что ли?

Шерли (невозмутимо). Не беспокойтесь. Вам нечего боять­ся, что за вами станут бегать; ваше общество вовсе не так интересно. (Собирается войти в убежище.)

В дверях показывается Барбара, справа от нее Андершафт.

Барбара. Ах, вот вы где, мистер Шерли! (Становится ме­жду ними.) Это мой отец; я, кажется, вам говорила, что он свободомыслящий? Вы с ним, верно, столкуетесь.

Андершафт (в изумлении). Я свободомыслящий? Ничего подобного! Напротив, убеж­ден­ный мистик.

Барбара. Ах, простите, пожалуйста! Кстати, папа, какая У вас религия? Может быть, мне придется с кем-нибудь вас знакомить.

Андершафт. Религия? Ну, милая, ведь я миллионер. Это и есть моя религия.

Барбара. В таком случае, боюсь, вам не столковаться. Ведь вы не миллионер, правда, Питер?

Шерли. Нет, и горжусь этим.

Андершафт (серьезно). Бедность, мой друг, не такая вещь, чтобы ею гордиться.

Шерли (сердито). А кто наживал для вас миллионы? Я и мне подобные. Отчего мы бедны? Оттого, что сделали вас богатыми. Даже за все ваши доходы я бы не согла­сился поменяться с вами совестью.

Андершафт. Даже за вашу совесть я не поменялся бы с ва­ми доходом, мистер Шерли. (Идет под навес и садится на скамью.)

Барбара (перебивает Питера на полуслове). Трудно себе представить, что это мой отец, правда, Питер? Может быть, вы пойдете в убежище, поможете девушкам? Се­годня мы сбились с ног.

Шерли (с горечью). Да, конечно, ведь я у них в долгу за обед, не так ли?

Барбара. Нет, не потому, что вы у них в долгу, а из любви к ним, Питер, из любви к ним.

Он не понимает и даже несколько шокирован.

Ну что вы так на меня смотрите? Подите в убежище, дайте вашей совести отдохнуть. (Подталкивает его к убежищу.)

Шерли (в дверях). Жалко, что вас не учили шевелить мозга­ми, мисс. Из вас вышел бы замечательный лектор по атеизму.

Барбара смотрит на отца.

Андершафт. Не обращай на меня внимания, милая. Зани­майся своим делом и позволь мне быть наблюдателем.

Барбара. Хорошо, папа.

Андершафт. Например, что такое вот с этим пациентом?

Барбара (смотрит на Билла, который сидит все в той же позе, с тем же выражением мрачного раздумья). О, мы его живо вылечим. Вот, посмотри. (Подходит к Биллу и останавливается в ожидании.)

Тот взглядывает на нее и снова опускает глаза, чувствуя себя неловко и злясь еще больше.

Хорошо бы растоптать каблуками лицо Мэг Эбиджем — верно, Билл?

Билл (в замешательстве вскакивает с колоды). Враки, я это­го не говорил.

Она качает головой.

Кто вам сказал, что у меня на уме?

Барбара. Ваш новый приятель.

Билл. Какой еще новый приятель?

Барбара. Дьявол, Билл. Когда ему удается опутать челове­ка, тот становится несчастным, вот как вы.

Билл (пытается показать, что ему сам черт не брат). Я во­все не несчастен. (Опять садится и вытягивает ноги, стараясь казаться равнодушным.)

Барбара. Ну, а если вы счастливы, почему же этого не видно?

Билл (невольно подбирая ноги). Сказано вам, я счастлив, и отвяжитесь от меня! Чего вы ко мне пристали? Что я вам дался? Ведь я не вас двинул по роже!

Барбара (мягко, подбираясь к его душе). Это не я к вам пристаю, Билл!

Билл. А кто же еще?

Барбара. Тот, кто не хочет, чтобы вы били женщину по ли­цу. Тот, кто желает сделать из вас человека.

Билл (бахвалится). Сделать из меня человека? А я разве не человек? А? Кто говорит, что я не человек?

Барбара. Может быть, где-нибудь в вас и сидит человек. Но — как же он допустил, что вы ударили бедняжку Дженни? Это было не очень-то человечно.

Билл (вконец измученный). Отвяжитесь вы, говорю я вам. Довольно уж. Надоела мне ваша Дженни.

Барбара. Так почему же вы все время об этом думаете? По­чему вы боретесь с этим в душе? Ведь вы не обратились к богу!

Билл (убежденно). Ну уж нет. Этого вам не дождаться.

Барбара. Правильно, Билл. Не сдавайтесь. Соберитесь с си­лами. Не уступайте нам себя по дешевке. Тоджер Фэрмайл говорит, что он три ночи боролся с богом так, как никогда не боролся с японцем в мюзик-холле. Он сдался японцу только тогда, когда рука его была почти слома­на. Он сдался богу только тогда, когда сердце его было почти разбито. Быть может, вам это не грозит — ведь у вас нет сердца.

Билл. То есть как это нет? Почему это у меня нет сердца?

Барбара. У человека с сердцем не поднялась бы рука на бедняжку Дженни, как по-вашему?

Билл (чуть не плача). Ох, да когда же вы от меня отстанете? Ведь я вас не трогал. Что же вы не даете мне покоя? (Весь дергается.)

Барбара (успокаивающе кладет руку ему на плечо и говорит кротким голосом, ни на минуту не давая ему опомнить­ся). Это ваша совесть не дает вам покоя, Билл, а не я; мы все через это прошли. Идемте с нами, Билл.

Он дико оглядывается по сторонам.

Идемте с нами, к подвигам на земле и вечной славе на небесах.

Ему становится невмоготу.

Идемте.

В убежище бьет барабан, Барбара оборачивается, и Билл с глубоким вздохом сбрасывает с себя чары. Из убежища выходит Адольф с турецким барабаном.

А, вот и вы, Долли! Позвольте познакомить вас с моим новым другом, мистером Уокером. Билл, это мой парень, мистер Казенс.

Казенс отдает честь палочкой.

Билл. Собираетесь за него замуж?

Барбара. Да.

Билл (с чувством). Ну так помоги ему боже! Помоги ему боже!

Барбара. Почему? Вы думаете, что он не будет со мной счастлив?

Билл. Я едва вытерпел одно утро, а ему придется терпеть всю жизнь.

Казенс. Ужасная мысль, мистер Уокер. Но я не могу рас­статься с Барбарой.

Билл. Ну, а я так могу. (Барбаре.) Слушайте-ка! Знаете, куда я сейчас иду и что собираюсь сделать?

Барбара. Да, вы идете к богу. И не минет еще недели, как вы явитесь сюда и скажете мне об этом.

Билл. Вот и врете. Я пойду в Кеннингтаун и плюну в глаза ва­шему Тоджеру. Я съездил Джен­ни по роже, а теперь пу­скай он съездит мне по роже, и я приду и покажусь вам- Он изобьет меня почище, чем я избил вашу Дженни. Вот мы и будем квиты! (Адольфу.) Правильно или нет? Вы — джентльмен, должны знать.

Барбара. Лишние синяки делу не помогут.

Билл. Вас не спрашивают. Помолчите хоть минутку. Я спра­шиваю вот его.

Казенс (задумчиво). Да, мне кажется, вы правы, мистер Уокер. Я тоже так поступил бы. Любопытно: древний грек сделал бы то же самое.

Барбара. А какой от этого толк?

Казенс. Что ж, это даст мистеру Фэрмайлу возможность размяться и успокоит душу мистера Уокера.

Билл. Чепуха! Какая там душа! Почем вы знаете, есть у ме­ня душа или нет? Вы ее не видели.

Барбара. Я видела, как болела ваша душа, когда вы восста­ли против нее.

Билл (сдерживая озлобление). Если б вы были моя девчонка и вот так же не давали мне слова сказать, уж я бы поста­рался, чтоб у вас везде заболело. (Адольфу.) Послушай­тесь моего совета, приятель. Отучите ее болтать, не то вы помрете раньше времени. (С силой.) Угробит она вас, вот что с вами случится; она вас угробит. (Уходит в ворота.)

Казенс (смотрит ему вслед). Любопытно, очень любопыт­но!

Барбара (негодующе, тоном своей матери). Долли!

Казенс. Да, милая, любить вас очень утомительно. Если так пойдет дальше, я долго не проживу.

Барбара. Вас это огорчает?

Казенс. Нисколько. (Он неожиданно смягчается и целует ее, перегнувшись через барабан, — как видно, не впервые, ибо без практики это почти невыполнимо.)

Андершафт кашляет.

Барбара. Ничего, папа, мы про вас не забыли. Долли, пока­жите папе убежище, мне некогда. (Энергичной походкой идет в дом.)

Андершафт и Адольф остаются вдвоем. Андершафт си­дит на скамье в той же позе наблюдателя и пристально смотрит на Адольфа. Адольф пристально смотрит на Андершафта.

Андершафт. Мне кажется, вы догадываетесь, что у меня на уме, мистер Казенс.

Казенс беззвучно взмахивает палочками, словно выбивая быструю дробь.

Вот именно! А что если Барбара выведет вас на чистую воду?

Казенс. Я и не думаю обманывать Барбару. Я совершенно не интересуюсь взглядами Армии спасения. Дело в том, что я нечто вроде коллекционера религий и ухитряюсь верить во все религии разом. Кстати, а вы во что-нибудь верите?

Андершафт. Да.

Казенс. Во что-нибудь из ряда вон выходящее?

Андершафт. Только в то, что для спасения необходимы две вещи.

Казенс (разочарованно, но вежливо). Ах да, по катехизису! Чарлз Ломэкс тоже принадлежит к англиканской церкви.

Андершафт. Эти две вещи...

Казенс. Крещение и...

Андершафт. Нет. Деньги и порох.

Казенс (изумленно, но с интересом). Это общее мнение на­ших правящих классов. Ново только то, что нашелся че­ловек, который говорит это вслух.

Андершафт. Совершенно верно.

Казенс. Простите, а есть ли в вашей религии место справед­ливости, чести, правде, милосердию, любви и так далее?

Андершафт. Да, это украшение беззаботной жизни бо­гатых и сильных.

Казенс. А что если придется выбирать между этими добро­детелями и деньгами и поро­хом?

Андершафт. Выбирайте деньги и порох — без них вы не сможете позволить себе быть правдивым, любящим, ми­лосердным и так далее.

Казенс. И это ваша религия?

Андершафт. Да.

Интонация этого ответа завершает разговор. Это «да» звучит, как фермата перед новым развитием темы. Ка­зенс делает скептическую гримасу, пристально смотрит на Андершафта. Андершафт пристально смотрит на Казенса.

Казенс. Барбара этого не потерпит. Вам придется выбирать между вашей религией и Барбарой.

Андершафт. И вам тоже, мой друг. Она скоро откроет, что этот ваш барабан пустой.

Казенс. Папа Андершафт, вы ошибаетесь: я убежденным сторонник Армии спасения. Вы не понимаете, что такое Армия спасения. Это армия радости, любви, мужества; она изгнала ужас, отчаяние, угрызение совести старых евангелических сект, одержимых страхом ада; она идет на бой с дьяволом под звуки труб и барабанов, с музы­кой и танцами, со знаменами и пальмовыми ветвями, как и подобает воинству Христову при вылазке с небес. Она берет пропойцу из кабака и делает его человеком, она бе­рет презренную тварь, которая прозябала на кухне, — и вот тварь эта становится женщиной. И не только она, но и люди из общества, сыновья и дочери нашей знати. Ар­мия берет бедного учителя греческого языка, самое изло­манное и самое подавленное существо из всего рода че­ловеческого, питающееся греческими корнями, и пробу­ждает в нем рапсода, открывает ему, что такое истинный культ Диониса, и посылает его на улицу барабанить ди­фирамбы. (Играет на барабане громкий туш.)

Андершафт. Вы поднимете на ноги все убежище.

Казенс. О, там привыкли к неожиданным вспышкам экстаза. Но если барабан вас беспокоит... (Сует в карман палоч­ки, снимает барабан и ставит его на землю против ворот.)

Андершафт. Благодарю вас.

Казенс. Вы помните, что говорит Еврипид о деньгах и порохе?

Андершафт. Нет.

Казенс (декламирует).

Пусть тот или иной Соседа превзойдет оружьем и казной, И пусть мильоны душ людских томит броженье Бесчисленных надежд, которые им лгут И множат в них тоску, до срока отмирая, — Кто понял, как сладка простая жизнь земная, Тот — в днях, которые бегут, Отраду обретя, — уж тут Стал небожителем, не ведающим тленья.

Перевод мой, как вы его находите?

Андершафт. Я нахожу, мой друг, что если вы желаете уз­нать в жизни счастье, то должны сначала получить до­статочно денег, чтобы не нуждаться, и достаточно власти, чтобы быть самому себе господином.

Казенс. Звучит дьявольски неутешительно. (Декламирует.)

Ужель кому-нибудь не ясно, что вселенной Предвечный правит дух, что в мире неизменно Царит его закон и что предела нет Его могуществу? Людская мудрость — бред, Когда она молчит о воле Провиденья. Что может быть добрей, чем божья благодать? Мы, смерти не страшась, должны спокойно ждать, Что принесет нам Рок, и к Барбаре питать Всегда в душе своей любовь и восхищенье.

Андершафт. Вот как! У Еврипида упоминается Барбара?

Казенс. Вольный перевод. Там стоит — «красота».

Андершафт. Нельзя ли мне узнать, как отцу Барбары, на какие средства вы собираетесь вечно любить ее?

Казенс. Так как вы отец Барбары, то это скорее ваше дело, а не мое. Я могу прокормить ее преподаванием греческо­го, вот, пожалуй, и все.

Андершафт. И вы считаете, что она делает выгодную партию?

Казенс (вежливо, но упрямо). Мистер Андершафт, я во мно­гих отношениях человек сла­бый, робкий, пассивный, и здоровье у меня неважное. Но если я чего-нибудь хочу, то добиваюсь этого рано или поздно. Так и с Барбарой. Брак мне вовсе не по вкусу, я его просто боюсь, к тому же я не знаю, зачем мне Барбара и для чего я ей? Но у меня такое чув­ство, что жениться на ней должен я, и никто другой. Пожалуйста, считайте дело ре­шен­ным. Я не хочу навязывать вам свою волю, но к чему отни­мать у вас время и спо­рить о том, что неизбежно?

Андершафт. Это значит, что вас ничто не остановит, даже превращение Армии спасения в культ Диониса?

Казенс. Дело Армии спасения — спасать, а не препираться из-за имени того, кто нашел верный путь. Дионис или другой — не все ли равно?

Андершафт (вставая и подходя к нему). Профессор Ка­зенс, мне по сердцу такие молодые люди, как вы.

Казенс. Мистер Андершафт, насколько я понимаю, вы про­дувной старый плут, но вы импонируете моему чувству сарказма.

Андершафт молча протягивает ему руку. Они обмени­ваются рукопожатием.

Андершафт (настраиваясь на серьезный лад). А теперь к делу.

Казенс. Простите. Мы говорили о религии. Зачем перехо­дить к такому неинтересному и маловажному предмету, как дело?

Андершафт. Религия и есть наше дело в данную минуту, потому что без религии нам с вами не добиться Барбары.

Казенс. И вы тоже влюбились в Барбару?

Андершафт. Да, отеческой любовью.

Казенс. Отеческая любовь к взрослой дочери — опаснейшее из увлечений. Приношу извинения в том, что осмелился поставить свою вялую, робкую, пугливую привязанность рядом с вашей.

Андершафт. Ближе к делу. Нам нужно завоевать Барбару, а мы с вами не методисты.

Казенс. Не беда. Сила, при помощи которой Барбара пра­вит здесь, та сила, которая правит самой Барбарой, — не кальвинизм, не пресвитерианство, не методизм...

Андершафт. И даже не язычество древних греков?

Казенс. Согласен. Барбара верит на свой лад, вполне оригинально.

Андершафт (торжествующе). Ага! Недаром она Барбара Андершафт. Вдохновение она черпает в себе самой.

Казенс. А как, вы думаете, оно туда попало?

Андершафт (увлекаясь все больше). Наследие Андершафтов. Я передал свой факел дочери. Она будет проповедо­вать мое евангелие и обращать в мою веру...

Казенс. Как? Деньги и порох?

Андершафт. Да, деньги и порох. Свобода и власть. Власть над жизнью и власть над смертью.

Казенс (вежливо, стараясь свести его с облаков на землю). Это замечательно, мистер Андершафт. Вам, разумеется, известно, что вы сумасшедший?

Андершафт (с удвоенной силой). А вы?

Казенс. Форменный маньяк. Так и быть, владейте моей тай­ной, раз и ваша мне известна. Но я удивляюсь. Разве су­масшедший может делать пушки?

Андершафт. А кто, кроме сумасшедшего, стал бы их де­лать? А теперь (с удвоенной энергией) вопрос за вопрос. Разве человек в здравом уме может переводить Еврипида?

Казенс. Нет.

Андершафт (хватает его за плечи). Разве женщина в здра­вом уме может сделать пропойцу человеком или жалкую тварь — женщиной?

Казенс (склоняясь перед бурей). Отец Колосс... капиталист Левиафан...

Андершафт (наступает на него). Так сколько же сумасшедших сегодня в убежище, двое или трое?

Казенс. Вы хотите сказать, что Барбара такая же сумасшед­шая, как мы с вами?

Андершафт (легонько отстраняет его от себя и сразу при­ходит в равновесие). Вот что, профессор, условимся на­зывать вещи своими именами. Я — миллионер, вы — поэт, Барбара — спасительница душ. Что у нас общего с чернью, с толпой рабов и идолопоклонников? (Садит­ся, презрительно пожимая плечами.)

Казенс. Берегитесь! Барбара влюблена в простой народ. Я тоже. Неужели вам незнакома романтика этой любви?

Андершафт (холодно и сардонически). Уж не влюблены ли вы в бедность, как святой Франциск? В грязь, как святой Симеон? В болезни и страдания, как наши сестры мило­сердия и филантропы? Такая страсть не добродетель, а самый противоестественный из пороков. Любовь к про­стому народу может увлечь внучку лорда и университет­ского профессора, а я сам был человеком простым и бедным, для меня в этом нет никакой романтики. Пусть бедняки делают вид, будто бедность есть благословение божие, пусть трусы создают религию из своей трусости и проповедуют смирение,— мы не так просты. Мы трое должны возвышаться над простой чернью; иначе, как мы поможем их детям подняться и стать рядом с нами? Бар­бара должна принадлежать нам, а не Армии спасения.

Казенс. Я могу сказать только, что если вы думаете оттолк­нуть ее от Армии спасения такими разговорами, как со мною, то вы не знаете Барбары.

Андершафт. Друг мой, я никогда не прошу того, что могу купить.

Казенс (в ярости). Так ли я вас понял: вы хотите сказать, что можете купить Барбару?

Андершафт. Нет, но я могу купить Армию спасения.

Казенс. Совершенно невозможно!

Андершафт. Вот увидите. Все религиозные организации су­ществуют тем, что продают себя богачам.

Казенс. Но не Армия. Это церковь бедняков.

Андершафт. Тем больше оснований купить ее.

Казенс. Не думаю, чтобы вам было известно, что именно Армия делает для бедных.

Андершафт. Как же, известно: заговаривает им зубы. Как человеку деловому, мне довольно и этого.

Казенс. Какие пустяки! Она прививает им трезвость.

Андершафт. Я предпочитаю трезвых рабочих. Прибыли больше.

Казенс. ...честность...

Андершафт. Честные рабочие всего выгодней.

Казенс. ...привязанность к семье и дому...

Андершафт. Тем лучше: они примирятся с чем угодно, лишь бы не менять место работы.

Казенс. ...чувство довольства жизнью...

Андершафт. Неоценимое предохранительное средство про­тив революции.

Казенс. ...бескорыстие...

Андершафт. Равнодушие к собственным интересам — мне это подходит как нельзя более.

Казенс. ...обращает их мысли к небесам...

Андершафт. А не к социализму и тред-юнионизму. Превос­ходно.

Казенс (возмущенно). Вот уж действительно продувной старый плут!

Андершафт (указывая на Питера Шерли, который только что вышел из убежища и в унынии бродит по двору). А вот это честный человек?

Шерли. Да. А какая мне польза от моей честности? (Прохо­дит мимо и угрюмо садится на скамью под навесом.)

Снобби Прайс, сияя лицемерной улыбкой, и Дженни Хилл с тамбурином, полным медяков, выходят из убе­жища и подходят к барабану. Дженни отсчитывает на нем деньги.

Андершафт (отвечая Шерли). Зато вашим хозяевам от этого была большая польза! (Садится на стол, ставит ногу на боковую скамью.)

Казенс, подавленный, садится на ту же скамью, ближе к убежищу. Барбара выходит из убежища на середину двора; она взволнована и выглядит несколько утомленной.

Барбара. У нас только что состоялся замечательный митинг у ворот, выходящих на Крипс-лейн. Кажется, я еще ни­когда не видела, чтобы публика была так растрогана, как после вашей проповеди, мистер Прайс.

Прайс. Я бы радовался тому, что до сих пор вел греховную жизнь, если бы мог поверить, что это поможет другим избежать стези порока.

Барбара. Поможет, Снобби, поможет. Сколько, Дженни?

Дженни. Четыре шиллинга десять пенсов, майор.

Барбара. Ах, Снобби, если б вы дали вашей несчастной ма­тери еще одну затрещину, мы собрали бы целых пять Шиллингов!

Прайс. Если б она слышала вас, мисс, она бы тоже об это пожалела. Но до чего же я счастлив! Какая это будет для нее радость, когда она узнает, что я спасен!

Андершафт. Могу я внести недостающие два пенса, Барба­ра? Лепта миллионера, а? (Достает из кармана два медяка.)

Барбара. Как вы заработали эти деньги?

Андершафт. Как и всегда, продажей пушек, торпед, под­водных лодок и моих новых патентованных ручных гра­нат «великий герцог».

Барбара. Положите их обратно в карман. Здесь вы не купи­те себе спасение за два пенса; вы должны заработать его.

Андершафт. Разве двух пенсов мало? Я могу прибавить, если ты настаиваешь.

Барбара. Даже двух миллионов было бы мало. Ваши руки в крови, и омыть их может только чистая кровь. Деньги здесь бесполезны. Возьмите их обратно. (Оборачиваясь к Казенсу.) Долли, напишите для меня еще одно письмо в газеты.

Казенс делает гримасу.

Да, я знаю, что вам не хочется, а все-таки придется напи­сать. Этой зимой мы не в силах помочь голодающим: все сидят без работы. Генерал говорит, что, если мы не достанем денег, придется закрыть убежище. На митингах я так клянчу у публики, что самой делается совестно. Правда, Снобби?

Прайс. Смотреть на вашу работу, мисс, одно удовольствие. Как вы этим гимном подняли сбор с трех шиллингов ше­сти пенсов до четырех шиллингов десяти — пенни за пен­ни, стих за стихом, просто удивительно! Никакому тор­гашу за вами не угнаться!

Барбара. Да, но все же лучше было бы обойтись без этого. Я, в конце концов, начинаю больше заботиться о сборе, чем о душах человеческих. Что нам эти медяки, со­бранные в шляпу? Нам нужны тысячи, десятки тысяч, со­тни тысяч! Я хочу обращать людей ко Христу, а не про­сить милостыню для Армии. Ведь я не стала бы просить для себя, скорее умерла бы.

Андершафт (с глубочайшей иронией). Подлинный аль­труизм способен на все, милая моя.

Барбара (собирает медяки с барабана в мешок; простосер­дечно). Да, не правда ди?

Андершафт иронически смотрит на Казенса.

Казенс (тихо Андершафту). Мефистофель! Макиавелли!

Барбара (со слезами на глазах завязывает мешок и кладет его в карман). Чем их кормить? Не могу же я говорить о вере человеку с голодными глазами? (Чуть не плача.) Это ужасно.

Дженни (подбегает к ней). Майор, милочка моя...

Барбара (выпрямляясь). Нет, не утешайте меня. Это ничего. Мы достанем денег.

Андершафт. Каким образом?

Дженни. Молитвой, конечно. Миссис Бэйнс говорит, что она молилась о деньгах вчера вечером, а она еще никогда не молилась напрасно, ни единого разу. (Подходит к воро­там и выглядывает на улицу.)

Барбара (которая тем временем вытерла глаза и успокои­лась). Кстати, папа, миссис Бэйнс здесь, она пойдет с на­ми на большой митинг и очень хочет с вами познако­миться, уж не знаю почему. Может быть, она вас обратит.

Андершафт. Я буду в восторге, милая.

Дженни (у ворот, возбужденно). Майор, майор! Этот чело­век опять здесь!

Барбара. Какой человек?

Дженни. Тот, который меня ударил. Ах, может быть, он для того и вернулся, чтобы вступить в Армию.

Билл Уокер входит в ворота, глубоко засунув руки в карманы и повесив голову, с видом игрока, проигравшего­ся дочиста; куртка его в снегу. Он останавливается ме­жду Барбарой и барабаном.

Барбара. Ага, Билл! Уже вернулись?

Билл (язвительно). А вы все болтаете, а?

Барбара. Да, почти все время. Ну что же, отплатил вам Тоджер за скулу бедной Дженни?

Билл. Нет, не отплатил!

Барбара. Мне показалось, что куртка у вас в снегу.

Билл. Ну да, в снегу. А вам так-таки нужно знать, откуда взялся снег?

Барбара. Да.

Билл. Ну так вот: с мостовой в Кеннингтауне. Я его унес на своей спине, понятно?

Барбара. Жаль, что вы не унесли его на своих коленях. Это принесло бы вам больше поль­зы.

Билл (невесело шутит). Я старался уберечь чужие колени. Он, знаете ли, стал коленями на мою голову.

Дженни. Кто?

Билл. Да Тоджер. Он за меня молился — с удобством молил­ся: я ему был вместо ковра. И Мэг тоже молилась. И все это чертово сборище. Мэг говорит: «Господи, сокруши его непокорный дух, но осени благодатью его сердце». Так и сказала: «Осени благодатью его сердце». А ее па­рень — тринадцать стоунов четыре фунта — всей своей тя­жестью в это время давит мне на голову. Смешно, а?

Дженни. Нет, что вы. Нам очень жаль вас, мистер Уокер.

Барбара (не скрывая своего удовольствия). Какой вздор! Разумеется, это смешно. Так вам и надо, Билл! Вы, дол­жно быть, первый к нему пристали.

Билл (упрямо). Я сделал то самое, что хотел: плюнул ему в глаза. А он закатил глаза и говорит: «Вот я удостоился того, что меня оплевали во имя твое!» —так и сказал. А Мэг сказала: «Аллилуйя, слава тебе боже»; а Тоджер назвал меня братом, набросился на меня, как будто я мальчишка, а он — моя мать и моет меня по субботам. И я с ним вовсе не дрался. Половина народу на улице молилась, а другая половина животики надрывала от смеху. (Барбаре.) Ну вот! Довольны вы теперь?

Барбара (глаза ее блестят от радости). Жаль, что меня там не было, Билл.

Билл. Ну да, вы бы лишний раз поговорили на мой счет.

Дженни. Мне очень жаль, мистер Уокер.

Билл (свирепо). Нечего вам жалеть. Никто вас не просит. Слушайте-ка! Ведь я разбил вам губу.

Дженни. Ничего, мне не было больно; право, не было боль­но, разве какую-нибудь минутку. Я только испугалась.

Билл. Не желаю я вашего прощения и ничего не желаю. Я за­плачу за то, что сделал. Я хотел было подставить соб­ственную челюсть, чтобы расквитаться с вами...

Дженни (в отчаянии). Нет, нет...

Билл (нетерпеливо). А я вам говорю — подставил. Слушайте, что вам говорят. А вышло, что за мои старания надо мной же все потешались на улице. Что же, если этим способом не удалось с вами расквитаться, можно и по- другому. Послушайте-ка! У меня было отложено два фунта на черный день, и фунт еще цел. Один мой при­ятель на прошлой неделе поссорился с бабенкой, на кото­рой собирался жениться, задал ей хорошую трепку; и его оштрафовали на пятнадцать шиллингов. Он имел право ее бить, раз они собирались пожениться, а я не имел пра­ва вас бить, — значит, накинем еще пять шиллингов, и пу­скай будет ровно фунт. (Достает деньги.) Вот, возьмите, и чтоб не было больше этих молитв и прощений и чтоб ваш майор не приставал ко мне больше. Что я сделал, то сделал; заплатил — и делу конец.

Дженни. О, я не могу взять эти деньги, мистер Уокер! Но если бы вы дали шиллинг или два бедной Ромми Митченс! Вы ее очень больно побили, а ведь она старая женщина.

Билл (презрительно). Ну уж нет. Я ее и еще стукну, попадись только мне на глаза. Пускай судится со мной, как грози­лась. Она-то меня не простила; непохоже, знаете ли. Я про нее и думать забыл. Чтоб из-за нее совесть меня мучила, как вот она говорит (указывая на Барбару), — да ничего подобного, это все равно что свинью приколоть. А вы бросьте эти ваши поповские штучки: всякие там прощения, да уговоры, да приставания — прямо хоть ве­шайся! Не желаю я этого, говорят вам! Берите вы ваши деньги и отвяжитесь от меня с вашей подбитой губой.

Дженни. Майор, можно мне взять немножко денег для Армии?

Барбара. Нет. Армию нельзя купить. Нам нужна ваша душа, Билл, меньше мы не возьмем.

Билл (с горечью). Знаю. Не нужны вам мои гроши. Ведь вы внучка графа. Вам нужно сотню фунтов, никак не меньше.

Андершафт. Ну же, Барбара! На сотню фунтов ты можешь сделать немало добра! Если ты облегчишь совесть этого джентльмена и возьмешь у него фунт, я добавлю девяно­сто девять.

Билл, ослепленный таким богатством, невольно подносит руку к козырьку кепи.

Барбара. О, вы слишком щедры, папа. Билл предлагает двадцать сребреников. Вам нужно добавить только остальные десять. За эту стандартную цену можно ку­пить всякого, кто продается. Я не продаюсь, и Армия не продается. (Биллу.) Вы не будете знать ни одной минуты покоя, пока не придете к нам. Вы не можете бороться против собственного спасения.

Билл (угрюмо). Я не могу бороться с болтливыми женщина­ми и борцами из мюзик-холла. Я предлагал заплатить, а больше я ничего не могу сделать. Хотите берите, хоти­те нет — дело ваше. Вот деньги. (Бросает золотой на ба­рабан и садится на кормушку.)

Монета привлекает внимание Снобби Прайса, который пользуется первым удобным моментом и бросает на нее свою шапку. Из убежища выходит миссис Бэйнс. Она одета в мундир комиссара Армии спасения. Это серьезная на вид женщина, лет сорока, с ласковыми и настойчивыми интонациями и трогательными манерами.

Барбара. Это мой отец, миссис Бэйнс.

Андершафт выходит из-за стола, с подчеркнутой вежли­востью снимая шляпу.

Постарайтесь убедить его. Меня он не слушает, потому что до сих пор помнит, какая я была дурочка в детстве. (Оставляет их вдвоем и вступает в разговор с Дженни.)

Миссис Бэйнс. Вам показывали убежище, мистер Андер­шафт? Вы, конечно, слышали о нашей работе.

Андершафт (очень вежливо). Вся Англия знает о ней, мис­сис Бэйнс.

Миссис Бэйнс. Нет, сэр, Англия о нас не знает, иначе нам не пришлось бы ограничивать себя из-за нужды в день­гах. Мы развернули бы работу по всей стране. Позвольте вам сказать, что, если бы не мы, в Лондоне этой зимой начались бы бунты.

Андершафт. Вы в самом деле так думаете?

Миссис Бэйнс. Я знаю. Я помню тысяча восемьсот во­семьдесят шестой год, когда вот такие богачи, как вы, ожесточились сердцем против бедных. Тогда били окна в клубах на Пэл-Мэле.

Андершафт (радостной улыбкой одобряя этот способ). И пожертвования в пользу бедных на другой день дошли с тридцати тысяч фунтов до семидесяти девяти тысяч! Как же, я это прекрасно помню.

Миссис Бэйнс. Так вот, не поможете ли вы мне? Теперь бедняки уже не станут бить окна. Поди сюда, Прайс. По­кажись вот этому джентльмену.

Прайс подходит.

Помнишь, как били окна?

Прайс. Мой старик отец подумал было, что начинается революция.

Миссис Бэйнс. А теперь ты стал бы бить окна?

Прайс. Нет, мэм. Мне открылось окно на небеса. Теперь я знаю, что богачи такие же грешники, как и я.

Ромми (показывается наверху, у чердачной двери). Снобби Прайс!

Прайс. Чего тебе?

Ромми. Ваша мать спрашивает вас, она у ворот на Крипс-лейн. Она услыхала про вашу исповедь.

Прайс бледнеет.

Миссис Бэйнс. Ступайте, мистер Прайс, помолитесь вме­сте с нею.

Дженни. Можете пройти через убежище, Снобби.

Прайс (обращаясь к миссис Бэйнс). Я не могу встретиться с ней сейчас, мэм, когда тяжесть грехов еще не свалилась с моей души. Скажите ей, что сын будет дожидаться ее дома, коротая время в молитве. (Проскальзывает в воро­та и по дороге захватывает с барабана золотой вместе с шапкой.)

Миссис Бэйнс (со слезами на глазах). Вот видите, как мы укрощаем злобу и горечь против богачей в сердцах бедняков.

Андершафт. Это, конечно, весьма удобно и лестно для всех крупных работодателей, миссис Бэйнс.

Миссис Бэйнс. Барбара, Дженни! У меня хорошие ново­сти, чудесные новости!

Дженни подбегает к ней.

Моя молитва услышана. Ведь я говорила, что так и бу­дет. Правда, Дженни?

Дженни. Да, да.

Барбара (подходя ближе к барабану). Хватит ли у нас денег? Не придется ли закрывать убежище?

Миссис Бэйнс. Надеюсь, денег у нас хватит на все убежи­ща. Лорд Саксмондхэм обещал нам пять тысяч фунтов...

Барбара. Ура!

Дженни. Слава богу!

Миссис Бэйнс. ...если...

Барбара. «Если»? Если что?

Миссис Бэйнс. ...если еще пять джентльменов дадут по тысяче каждый, чтобы было ровно десять тысяч.

Барбара. Кто такой лорд Саксмондхэм? Никогда о нем не слышала.

Андершафт (который навострил уши при имени этого пэра и с любопытством смотрит на Барбару). Новый титул, милая. Ты слышала имя сэра Горэйса Боджера?

Барбара. Боджера? Владельца водочного завода? Виски Боджера!

Андершафт. Ну, так это он самый и есть. Он один из вели­чайших благодетелей общества. Он реставрировал собор в Гэкингтоне. За это его сделали баронетом. Он пожер­твовал полмиллиона в фонд своей партии. За это его сде­лали бароном.

Шерли. А кем его сделают за пять тысяч?

Андершафт. Больше уже не осталось титулов. Так что, я думаю, эти пять тысяч пойдут на спасение его души.

Миссис Бэйнс. Дай-то бог! Ах, мистер Андершафт, у вас есть очень богатые друзья. Помогите нам получить остальные пять тысяч. Сегодня у нас будет большой ми­тинг в зале собраний на Майл Энд-роуд. Если б я могла объявить, что один джентльмен дал согласие поддержать лорда Саксмондхэма, другие последовали бы его приме­ру. Может быть, вы знаете кого-нибудь? Не могли ли бы вы?.. (Глаза ее наполняются слезами.) Ах, подумайте об этих бедных людях, мистер Андершафт, подумайте, как много это для них значит и какие это пустяки для такого большого человека, как вы.

Андершафт (иронически любезно). Миссис Брайнс, вы не­отразимы. Я не могу огорчить вас и не могу отказать се­бе в удовольствии заставить раскошелиться Боджера. Вы по­лу­чите ваши пять тысяч.

Миссис Бэйнс. Благодарю тебя, боже!

Андершафт. А меня вы не благодарите?

Миссис Бэйнс. О сэр, не старайтесь казаться циником, не стыдитесь того, что вы добрый человек. Господь воздаст вам сторицей, и наши молитвы всю жизнь будут охра­нять вас, словно крепостные стены. (Осторожно.) Бы дадите мне чек, чтоб я могла показать его на митинге, не правда ли? Дженни, принесите перо и чернила.

Дженни бежит в дом.

Андершафт. Не беспокойтесь, мисс Хилл, у меня есть веч­ное перо.

Дженни останавливается. Андершафт садится за стол и пишет чек. Казенс встает, ус­ту­пая ему место. Все смотрят на него молча.

Билл (цинично, обращаясь к Барбаре; тон у него теперь в выс­шей степени нахальный). Почем нынче спасение души?

Барбара. Стойте!

Андершафт перестает писать. Вee оборачиваются к ней в изумлении.

Миссис Бэйнс, вы в самом деле собираетесь взять эти деньги?

Миссис Бэйнс (удивленно). А почему же не взять, милочка?

Барбара. Почему? А знаете ли вы, что такое мой отец? Раз­ве вы забыли, что лорд Саксмондхэм — это водочник Боджер? Помните, как мы просили совет округа запре­тить ему освещать небо огненной надписью «Водка Боджера»? Несчастные пропойцы на набережной не могут очнуться от тревожного сна без того, чтобы эта мерзкая вывеска в небесах не пробудила в них пагубной жажды. Знаете ли вы, что самое худшее, с чем мне приходилось здесь бороться? Это не дьявол, а Боджер, Боджер, Бод­жер и его водка, его заводы, его кабаки! Вы хотите, чтобы и наше убежище стало кабаком, а я в нем хозяйкой?

Билл. Да и водка-то ни к черту не годная.

Миссис Бэйнс. Милая Барбара, у лорда Саксмондхэма, как у каждого из нас, есть душа, которую нужно спасти. Если бог внушил ему мысль употребить свои деньги на доброе дело, то не нам противиться тому, что молитва наша услышана.

Барбара. Я знаю, что его душу нужно спасти. Пусть придет сюда, и я сделаю все, чтобы помочь этому спасению. Но ведь он хочет откупиться чеком, а сам будет грешить по-старому.

Андершафт (рассудительным тоном, в котором один Казенс усматривает иронию). Милая моя Барбара, алко­голь очень полезен. Он помогает больным...

Барбара. Ничего подобного.

Андершафт. Ну, скажем, помогает врачу, — это, быть мо­жет, менее спорный способ выразить ту же мысль. Для миллионов людей алкоголь делает сносной такую жизнь, какой трезвому не вынести. Он помогает парламенту ре­шать в одиннадцать часов вечера такие дела, каких ни один человек в здравом уме не смог бы разрешить и в одиннадцать утра. Виноват ли Боджер в том, что этим неоценимым даром злоупотребляет какой-нибудь один процент бедняков? (Снова поворачивается к столу и под­писывает чек.)

Миссис Бэйнс. Барбара, как вы полагаете, больше или меньше пьяных станет оттого, что все эти бедные души, которые мы стараемся спасти, завтра утром найдут две­ри убежища запертыми? Лорд Саксмондхэм дает нам деньги для борьбы с пьянством — для борьбы с ним самим.

Казенс (лукаво). Чистое самопожертвование со стороны Боджера, это ясно! Благослови, боже, доброго Боджера.

Силы изменяют Барбаре, когда она видит, что и Адольф предал ее.

Андершафт (встает, отрывает чек, кладет чековую книж­ку в карман и проходит мимо Казенса к миссис Бэйнс). И я тоже, миссис Бэйнс, могу претендовать на бескоры­стие. Подумайте сами, какое у меня ремесло! Вспомните вдов и сирот, мужчин и юношей, разорванных на куски шрапнелью, отравленных лиддитом и люизитом!

Миссис Бэйнс морщится, но он безжалостно продол­жает.

Вспомните моря крови — и ни одной капли этой крови не пролито за правое дело! — вытоптанные нивы мирных крестьян, работающих под огнем неприятеля, в муках го­лода, злобу трусов и лжецов, которые, сидя дома, под­стрекают других к войне для удовлетворения своего на­ционального тщеславия! Все это приносит мне доход; я только богатею и получаю больше заказов, когда га­зеты об этом трубят. Ну, а ваше ремесло — проповедо­вать на земле мир и в человецех благоволение.

Лицо миссис Бэйнс опять проясняется.

Каждый обращенный вами — это новый голос против войны.

Губы ее шевелятся, произнося молитву.

А все же я отдаю эти деньги вам и тем ускоряю свое соб­ственное разорение! (Дает ей чек.)

Казенс (вскакивает на скамью в злорадном восторге). Цар­ство небесное на земле насаждают человеколюбцы Боджер и Андершафт! Возрадуйтесь! (Достает палочки из кар­мана и размахивает ими.)

Миссис Бэйнс (берет чек). Чем дольше я живу, тем боль­ше вижу доказательств, что неизмеримая благость гос­подня рано или поздно все обращает на пользу делу спа­сения. Что доброго можно было ожидать от пьянства и войны? Однако доходы с них принесены сегодня на ал­тарь спасения и совершат благое дело. (Она растрогана до слез.)

Дженни (подбегает к миссис Бэйнс и обнимает ее). О боже, какая радость, как все это хорошо!

Казенс (с судорожной иронией). Воспользуемся этой незабвенной минутой. Отправимся немедля на митинг! Изви­ните, я сейчас вернусь. (Убегает в дом.)

Дженни берет с барабана свой тамбурин.

Миссис Бэйнс. Мистер Андершафт, приходилось ли вам видеть, как тысячная толпа падает на колени в едином порыве и начинает молиться? Пойдемте с нами на ми­тинг. Барбара скажет им, что Армия спасена, и спасена вами.

Казенс (стремительно выбегает из убежища с флагом и тромбоном и становится между миссис Бэйнс и Андершафтом). Вы первая понесете флаг, миссис Бэйнс. (Передает ей флаг.) Мистер Андершафт — талантливый тромбонист; его игра придаст нечто олимпийское Вестхэмскому маршу Армии спасения. (Андершафту, навязы­вая ему тромбон.) Труби, Макиавелли, труби!

Андершафт (Казенсу, принимая тромбон). Труба сионская!

Казенс бросается к барабану, хватает его и надевает че­рез плечо.

(Громко.) Постараюсь сделать, что могу. Я бы мог ис­полнить партию баса, если б знал мотив.

Казенс. Это свадебный марш из какой-то оперы Доницетти, но мы его приспособили. Мы все тут же приспосабли­ваем для служения благим целям, даже Боджера. Помни­те хор: «Великая радость» — «Immenso giubilo»? Барабанная дробь: там-там-та-та-там, там-там-та- та.

Барбара. Долли, вы разбили мое сердце.

Казенс. Одним разбитым сердцем больше или меньше — не все ли равно теперь? Дионис Андершафт сошел на зе­млю. Я неистовствую.

Миссис Бэйнс. Ну же, Барбара! Наша душенька майор должна нести флаг вместе со мной.

Дженни. Да, да, майор, душенька.

Казенс выхватывает тамбурин у Дженни и молча подно­сит его Барбаре. Барбара, вздрогнув, отталкивает там­бурин. Казенс небрежно перебрасывает его обратно Дженни и идет к воротам.

Барбара. Я не могу.

Дженни. Как не можете?

Миссис Бэйнс (со слезами на глазах). Барбара, вы думае­те, я поступила нехорошо, что взяла деньги?

Барбара (подходит к ней и порывисто целует ее). Нет, нет, дорогая, помоги вам бог, так и нужно было сделать — вы спасли Армию. Ступайте, желаю вам удачи.

Дженни. А вы не пойдете?

Барбара. Нет. (Откалывает с воротника серебряную брошь в виде буквы S.)

Миссис Бэйнс. Барбара, что вы делаете?

Дженни. Зачем вы снимаете значок? Вы же не уходите от нас, майор?

Барбара (спокойно). Отец, подите сюда.

Андершафт (подходит к ней). Милая моя! (Увидев, что она собирается приколоть ему значок, в смятении рети­руется под навес.)

Барбара (идет за ним). Не пугайтесь. (Прикалывает значок и отступает к столу, чтобы дать другим полюбоваться на Андершафта.) Вот! Правда, совсем не много за пять тысяч фунтов?

Миссис Бэйнс. Барбара, если вы не идете молиться с на­ми, обещайте мне, что помолитесь за нас.

Барбара. Я не могу молиться теперь. Может быть, я никог­да больше не буду молиться.

Миссис Бэйнс. Барбара!

Дженни. Майор!

Барбара (едва владея собой). Не могу больше. Скорей уходите!

Казенс (обращаясъ к процессии, выстроившейся за ворота­ми). Пошли! Музыка, начинаю! (Дает тон.)

Оркестр начинает марш, скоро замирающий в отдалении, так как процессия двигается быстро.

Миссис Бэйнс. Мне нужно идти, милочка. Вы переутоми­лись, а завтра опять все будет хорошо. Вы не оставите нас. Ну, Дженни, идем под нашим старым флагом. Кровь и огонь! (Маршируя, выходят за ворота с фла­гом.)

Дженни. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе боже! (Марши­рует, размахивая тамбурином.)

Андершафт (Казенсу, маршируя мимо него и пристраивая тромбон поудобнее). Мои дукаты и моя дочь!

Казенс (следуя за ним). Деньги и порох!

Барбара. Пьянство и убийство! Боже мой, зачем ты покинул меня? (Опускается на скамью, закрыв лицо руками.) Марш замирает в отдалении. Билл Уокер крадучись под­ходит к Барбаре.

Билл (язвительно). Почем нынче спасение души?

Шерли. Лежачего не бьют.

Билл. А она меня и лежачего била. Почему же не дать ей сдачи?

Барбара (поднимает голову). Я не брала ваших денег, Билл. (Подходит к воротам и становится спиной к Шерли и Биллу, пряча от них лицо.)

Билл (насмешливо, вслед ей). Ну да, там для вас было мало­вато. (Оборачивается к барабану и замечает, что золо­того нет.) Ого! Если вы не взяли, так кто-то другой взял. Куда же он девался? Провалиться мне, эта Дженни Хилл его все-таки взяла!

Ромми (кричит ему с чердака). Врешь ты, мерзавец! Это Снобби Прайс стащил золотой с барабана, когда брал свою шапку. Я здесь стою все время, я видела, как он стащил деньги!

Билл. Как? Стащил мои деньги? Чего же ты не кричала ка­раул, старая разиня?

Ромми. Так тебе и надо, не дерись! Нагрели тебя на целый золотой, будешь знать! (Испускает злорадный торже­ствующий клич.) Ага, попало! Поквитались мы с тобой! Будешь помнить в другой раз!

Билл выхватывает у Шерли кружку и швыряет ее в Ромми, она вовремя захлопывает чердачную дверь. Кружка разбивается о дверь, сыплются осколки.

Билл (посмеивается). Скажи-ка, старик, в каком часу этот самый Снобби Прайс спас свою душу?

Барбара (обращается к нему уже спокойнее, с невозмутимой кротостью). В половине первого, Билл. А ваш золотой он украл без четверти два. Я знаю. Ну что же, не терять же вам ваши деньги. Я пришлю их вам.

Билл (голос его звучит мягче). Ну нет! Хоть бы мне с голоду пришлось подыхать, меня купить нельзя.

Шерли. Будто бы нельзя? Да ты продашь себя черту за бу­тылку пива; только вот черта нет, купить некому.

Билл (не смущаясь). С удовольствием продал бы, приятель, да и не раз продавал. А вот ей меня не купить. (Подхо­дит к Барбаре.) Вам душа моя понадобилась? А вот вы ее и не получили.

Барбара. Чуть было не получила. Но продала вам обратно за десять тысяч фунтов.

Шерли. И то дорого дали!

Барбара. Нет, Питер, она дороже стоит.

Билл (чувствуя себя застрахованным от спасения души). Не­чего тут, теперь вам меня не обойти. Не верю я в это, а сегодня и сам увидел, что моя правда. (Уходит.) Про­щай, старый блюдолиз! Будьте здоровы, майор, граф­ская внучка! (В воротах оборачивается.) Почем нынче спасение души? Снобби Прайс! Ха-ха!

Барбара (протягивает руку). Прощайте, Билл!

Билл (застигнутый врасплох, хватается за шапку, потом снова нахлобучивает ее, с вызовом). Еще чего!

Барбара опускает руку.

(Его начинает мучить совесть.) Да вы не обижайтесь, право. Я против вас ничего не имею. Не сердитесь на ме­ня. До свидания, мисс. (Уходит.)

Барбара. Не сердитесь и вы. До свидания, Билл.

Шерли (качая головой). Вы уж очень с ним носитесь, мисс. Не знаете вы их.

Барбара (подходит к нему). Питер, теперь со мною то же, что с вами. Выгнали, вот я и без работы.

Шерли. У вас есть молодость и надежда. На два очка боль­ше, чем у меня.

Барбара. Я достану вам работу, Питер. Вот и надежда для вас, а с меня будет и молодости. (Пересчитывает свои деньги.) Осталось на два чая у Локарта, на ночлежку для вас и мне на трамвай и автобус.

Он хмурится и встает с видом оскорбленной гордости.

(Берет его за руку.) Не обижайтесь, Питер. Что за счеты между друзьями? И говорите со мной, не давайте мне плакать. (Уводит его к воротам.)

Шерли. Я, знаете ли, не привык разговаривать с вашим братом...

Барбара (настойчиво). Нет, нет, вы должны со мной пого­ворить. Расскажите мне о книгах Тома Пейна и о лек­циях Брэдло. Идемте.

Шерли. Эх, вот если бы вы прочли как следует Тома Пейна, мисс!

Вместе выходят из ворот.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

На следующий день после завтрака. Леди Бритомарт пишет письма в своей библиотеке на Уилтон-креснт. Сара читает в кресле у окна. Барбара, в обыкновенном платье, сшитом по моде, бледная и задум­чивая, сидит на кушетке. Входит Чарлз Ломэкс. Останавливается как вкопанный, увидев Барбару, изящ­но одетую и грустно настроенную.

Ломэкс. Вы не в мундире?!

Барбара молчит, но по ее лицу проходит выражение боли.

Леди Бритомарт (тихим голосом предупреждает его, чтоб он был осторожней). Чарлз!

Ломэкс (очень огорченный, подходит сзади к кушетке и со­чувственно склоняется над Барбарой). Мне очень жаль, Барбара. Вы ведь знаете, я помогал вам, как умел, и на концертино играл, и вообще. (С важностью.) А все-таки я никогда не закрывал глаза на то, что в этой Армии спасения порядочно всякого вздора. Взять, например, англи­канскую церковь...

Леди Бритомарт. Довольно, Чарлз. Поговорите о чем-нибудь, более соответствующем вашим умственным спо­собностям.

Ломэкс. Но ведь англиканская церковь как раз соответ­ствует нашим умственным способностям.

Барбара (пожимая ему руку). Благодарю за сочувствие, Чолли. А теперь ступайте поуха­живайте за Сарой.

Ломэкс (перетаскивает стул от письменного стола и с ви­дом влюбленного усаживается рядом с Сарой). Как пожи­вает сегодня мое сокровище?

Сара. Лучше бы ты не учила его, что надо делать, Барбара. А то он рад стараться. Чолли, мы едем сегодня на завод.

Ломэкс. На какой завод?

Сара. На оружейный.

Ломэкс. Как, в заведение вашего родителя?

Сара. Да.

Ломэкс. Ну, знаете ли!

Входит Казенс, явно расстроенный. Он тоже поражен, видя Барбару не в мундире.

Барбара. Я ждала вас сегодня утром, Долли. А вы и не догадывались?

Казенс (садится рядом с ней). Мне очень жаль. Я только- только успел позавтракать.

Сара. А у нас уже был второй завтрак.

Барбара. Вы плохо провели ночь!

Казенс. Нет, скорее хорошо; по правде говоря, это одна из самых замечательных ночей в моей жизни.

Барбара. На митинге?

Казенс. Нет, после митинга.

Леди Бритомарт. После митинга вам следовало лечь спать. Что вы делали?

Казенс. Пьянствовал.

Леди Бритомарт. (вместе) Адольф!

Сара. (вместе) Долли!

Барбара. (вместе) Долли!

Ломэкс. (вместе) Ну, знаете ли!

Леди Бритомарт. Что же вы пили, разрешите спросить?

Казенс. Какую-то дьявольскую разновидность испанского бургундского без примеси спирта; можно сказать, наход­ка для непьющих. В нем так много натурального алкого­ля, что всякая примесь была бы излишней.

Барбара. Вы шутите, Долли?

Казенс (терпеливо). Нет. Я провел ночь с номинальным главой этого дома, вот и все.

Леди Бритомарт. Эндру напоил вас?

Казенс. Нет, он только выставил угощение. Я думаю, что Дионис опьянил меня. (Барбаре.) Я же говорил вам вче­ра, что я одержим.

Леди Бритомарт. Вы и до сих пор еще не протрезвились. Ступайте сию минуту домой и ложитесь спать.

Казенс. Леди Бритомарт, я впервые осмеливаюсь сделать вам упрек: как вы могли выйти замуж за Князя тьмы?

Леди Бритомарт. Гораздо извинительнее выйти за него замуж, чем напиться с ним. Это новое достижение Эн­дру, кстати. Прежде он не пил.

Казенс. Он и теперь не пьет. Он только сидел со мной и до­вершал покупку моей души, разрушение моих моральных устоев, подрывал корни моих убеждений. Он любит вас, Барбара. Вот почему он так опасен для меня.

Барбара. Это ничего не значит, Долли. Есть любовь силь­нее, а мечты чудеснее, чем у домашнего очага. Вам это как будто известно.

Казенс. Да, так мы с вами думали. Я помню это и стою за это. Он может увлечь меня, но ненадолго, если не одо­леет меня на этой священной почве. А овладеть мною он не может, несмотря на всю его силу.

Барбара. Вот этого и держитесь, тогда все кончится хоро­шо. А теперь расскажите, что было на митинге.

Казенс. Митинг был замечательный. Миссис Бэйнс чуть не задохнулась от волнения. Дженни Хилл разревелась. Князь тьмы наяривал на тромбоне, как бешеный, рев был адский, словно все грешники в преисподней взвыли разом. Тут же, на месте, состоялось сто семнадцать обращений. Все молились со слезами умиления и за Боджера, и за анонимного жертвователя пяти тысяч. Ваш отец не пожелал назвать свое имя.

Ломэкс. А все-таки, знаете ли, старик молодчина! Другой бы на его месте не отказался от рекламы.

Казенc. Он сказал, что все благотворительные учреждения набросятся на него, как стервятники на падаль, если он назовет свое имя.

Леди Бритомарт. Узнаю Эндру! Самому своему достой­ному поступку он всегда подыщет недостойное основа­ние.

Казенс. Он убедил меня в том, что я всю жизнь поступаю недостойно на самых достойных основаниях.

Леди Бритомарт. Адольф, теперь, когда Барбара ушла из Армии спасения, и вам, пожалуй, тоже лучше было бы уйти. Я не желаю, чтоб вы ходили с этим барабаном по улице.

Казенс. Ваше приказание уже исполнено, леди Брит.

Барбара. Долли, вы верили когда-нибудь всерьез? Вступили бы вы в Армию спасения, если б не встретили меня?

Казенс (кривит душой). Что ж, э-э... возможно, в качестве коллекционера религий...

Ломэкс (глубокомысленно). Но не в качестве барабанщика, знаете ли. Вы парень с головой, Долли, и вам, наверное, с самого начала было ясно, что в этой самой Армии по­рядочно-таки всякого вздора...

Леди Бритомарт. Чарлз, если уж вы хотите нести чушь, то делайте это как взрослый человек, а не как мальчиш­ка.

Ломэкс (обескураженный). Ну, знаете ли, чушь всегда чушь, а при чем тут возраст?

Леди Бритомарт. В английском высшем обществе, Чарлз, люди несут чушь до самой старости, повторяя с важным видом глупейшие трюизмы. Даже у школьников есть свои трюизмы, как и у вас. В вашем возрасте школьник обычно получает должность секретаря у како­го-нибудь политического деятеля, бросает школьный жаргон и заимствует готовые трюизмы из «Спектэйтор» или «Тайме». Вам лучше было бы ограничиться «Тайме» Вы увидите, что и в «Тайме» порядочно-таки всякого вздора, зато, по крайней мере, язык там приличный. JI о м э к с (сдаваясь). Вы прямо министр, леди Брит! Леди Бритомарт. Какие глупости!

Входит Морисон.

Что там такое?

Морисон. С вашего разрешения, миледи, карета мистера Андершафта подъехала к дому.

Леди Бритомарт. Ну что же, введите его.

Морисон колеблется.

Что с вами, Морисон?

Морисон. Прикажете доложить о нем, миледи, или он здесь у себя дома, если так можно выразиться?

Леди Бритомарт. Доложите о нем.

Морисон. Благодарю вас, миледи. Надеюсь, вы извините, что я спросил. Случай в некотором роде новый для меня.

Леди Бритомарт. Совершенно верно. Ступайте и приве­дите его сюда.

Морисон. Благодарю вас, миледи. (Уходит.)

Леди Бритомарт. Дети, ступайте приготовьтесь.

Сара и Барбара уходят наверх одеваться.

Чарлз, подите скажите Стивену, чтоб он сошел вниз на пять минут, он в гостиной.

Чарлз уходит.

Адольф, скажите, чтоб карету подавали через четверть часа.

Адольф уходит.

Морисон (в дверях). Мистер Андершафт.

Входит Андершафт. Морисон уходит.

Андершафт. Ты одна! Какое счастье!

Леди Бритомарт (вставая). Не сентиментальничай, Эндру. Садись. (Садится на кушетку, он садится рядом, слева от нее. Она приступает к делу, не давая ему опомниться.) Саре нужно восемьсот фунтов в год, пока Ломэкс не получит наследства. Барбаре понадобится боль­ше, и это постоянно, потому что у Адольфа ничего нет.

Андершафт (покорно). Хорошо, милая, я позабочусь об этом. Может быть, нужно еще что-нибудь, например для тебя?

Деди Бритомарт. Я хочу поговорить с тобой о Стивене,

Андершафт (устало). Не стоит, милая, Стивен меня не интересует.

Леди Бритомарт. А меня интересует. Он наш сын.

Андершафт. Ты так думаешь? Он заставил нас произвести его на свет, но, кажется, не сумел толком выбрать роди­телей. Я не вижу в нем ничего своего, а твоего — еще меньше.

Леди Бритомарт. Эндру! Стивен хороший сын и очень способный юноша, самых лучших правил. Тебе просто нужен предлог, чтобы лишить его наследства.

Андершафт. Милая Бидди, это традиция Андершафтов ли­шает его наследства. Было бы нечестно с моей стороны оставить завод сыну.

Леди Бритомарт. Будет в высшей степени неприлично и безнравственно, если ты оставишь завод кому-нибудь другому. Неужели эту мерзкую и неприличную традицию будут поддерживать вечно? Уж не хочешь ли ты сказать, что Стивен не мог бы руководить заводом, как все дру­гие сыновья в больших фирмах?

Андершафт. Да, он мог бы выучиться деловой рутине, не понимая сути дела, как все другие сыновья, а дело шло бы само собой, пока настоящий Андершафт — вероятно, итальянец или немец — не изобрел бы нового метода и не оттер бы Стивена.

Леди Бритомарт. Что может итальянец или немец, то может и наш Стивен. В Стивене, по крайней мере, видна порода.

Андершафт. В сыне найденыша! Чепуха!

Леди Бритомарт. В моем сыне, Эндру. Да и в твоих жи­лах, может быть, течет благородная кровь, хотя ты этого и не знаешь.

Андершафт. Что ж, очень может быть. Вот и еще довод в пользу найденышей.

Леди Бритомарт. Эндру, не раздражай меня. И не говори гадостей. Сейчас ты делаешь и то и другое сразу.

Андершафт. Наш разговор входит в традицию Андершафтов, Бидди. Жены всех Андершафтов ведут с мужьями такие разговоры с тех самых пор, как основана фирма. Не стоит терять времени даром. Если традиция и будет когда-нибудь нарушена, то ради человека более талант­ливого, чем Стивен.

Леди Бритомарт (дуется). Тогда уходи.

Андершафт (просительно). Уходи?

Леди Бритомарт. Да, уходи. Если ты не хочешь ничего сделать для Стивена, то ты здесь не нужен. Ступай к своему найденышу и заботься о нем.

Андершафт. Дело в том, Бидди...

Леди Бритомарт. Не зови меня Бидди; я же не зову тебя Энди.

Андершафт. Я не стану звать свою жену Бритомарт, это совершенно бессмысленно. Без шуток, милая, традиция Андершафтов ставит меня в трудное положение. Я на­чинаю стареть, а мой компаньон Лейзерс в конце концов забастовал и объявил, что нужно решить вопрос о преем­ственности, и, конечно, он совершенно прав. Я, видишь ли, не нашел еще достойного наследника.

Леди Бритомарт (упрямо). У нас есть Стивен.

Андершафт. Вот именно; все мои найденыши как две кап­ли воды похожи на Стивена.

Леди Бритомарт. Эндру!

Андершафт. Мне нужен человек без роду и племени, без воспитания; иначе говоря, человек, которому не удалось бы пробиться, если б он не был сильным человеком. И я не могу найти такого. Каждого паршивого найденыша теперь подбирают приюты Бернардо, или чиновники ми­нистерства просвещения, или попечительские советы; и если у него есть хоть какие-нибудь способности, на не­го еще в школе обращают внимание, тренируют его для получения стипендии, словно скаковую лошадь, наби­вают ему голову ходячей мудростью, воспитывают в нем дисциплину, послушание и так называемый хороший вкус и калечат на всю жизнь так, что он уже не годен ни к че­му, как только самому быть учителем. Если ты хочешь, чтобы завод остался в семье, отыщи подходящего най­деныша и жени его на Барбаре.

Леди Бритомарт. Ах, Барбара твоя любимица! Ты готов принести Стивена в жертву Барбаре.

Андершафт. С радостью. А ты, моя милая, готова живьем сварить Барбару, лишь бы твой Стивен не остался бульона.

Леди Бритомарт. Эндру, тут вопрос не в наших симпатиях или антипатиях, это вопрос долга. Твой долг сде­лать Стивена своим наследником.

Андершафт. Так же, как твой долг — повиноваться мужу. Послушай, Бидди, эти уловки правящих классов со мной бесполезны. Я и сам теперь принадлежу к правящему классу. Пустая трата времени читать проповеди миссио­неру. В этом деле решаю я, и тебе не удастся обойти ме­ня и заставить решить его в твою пользу.

Леди Бритомарт. Эндру, ты, конечно, можешь загово­рить меня до потери сознания, но ты не можешь сделать черное белым. И галстук у тебя съехал на сторону. По­правь его.

Андершафт (в смущении). Он не держится, если его не приколоть. (По-детски морщась, поправляет галстук.)

Входит Стивен.

Стивен (в дверях). Извините меня. (Хочет уйти.)

Леди Бритомарт. Нет, нет, войди, Стивен.

Стивен подходит к письменному столу леди Бритомарт.

Андершафт (не слишком сердечно). Добрый день.

Стивен (холодно). Добрый день.

Андершафт (леди Бритомарт). Ему, я полагаю, известно о традиции?

Леди Бритомарт. Да. (Стивену.) То, о чем я тебе рас­сказывала вчера вечером, Стивен.

Андершафт (недовольным тоном). Насколько я понимаю, ты хочешь войти в нашу фирму?

Стивен. Я? В торговое предприятие? Разумеется нет.

Андершафт (широко раскрывает глаза, у него точно гора с плеч свалилась). Ах вот как! Но в таком случае...

Леди Бритомарт. Оружейный завод — не торговля, Стивен. Это деловое предприятие.

Стивен. Я не намереваюсь стать дельцом какого бы то ни было рода. У меня нет ни способностей, ни склонности к делам. Я намерен посвятить себя политике.

Андерщафт (вставая). Мой милый мальчик, какое облег­чение это слышать! Надеюсь, что и страна имеет все ос­нования радоваться. Я боялся, что ты сочтешь себя обой­денным и обиженным.

(Делает движение навстречу Стивену, словно для того, чтобы пожать ему руку.)

Леди Бритомарт (вставая, чтобы вмешаться). Стивен, я не позволю тебе выбросить за окно такое огромное состояние.

Стивен (сухо). Мама, перестаньте обращаться со мной как с ребенком, прошу вас.

Леди Бритомарт, глубоко оскорбленная тоном Стивена, отстраняется от него.

До вчерашнего вечера я не принимал всерьез вашего от­ношения ко мне, так как думал, что и у вас это не серьез­но. А теперь я вижу, что вы намеренно держали меня в неведении относительно того, что должны были объяс­нить мне много лет тому назад. Я чувствую себя оскор­бленным и обиженным. В дальнейшем я предпочту об­суждать мои планы с отцом, как следует между мужчи­нами.

Леди Бритомарт. Стивен! (Садится снова, и глаза ее на­полняются слезами.)

Андершафт (серьезно и сочувственно). Видишь ли, милая, только со взрослыми мужчинами можно обращаться, как с малыми детьми.

Стивен. Я очень сожалею, мама, что вы меня заставили...

Андершафт (останавливает его). Да-да-да-да. Все это хо­рошо, Стивен. Она не станет больше вмешиваться в твои дела; ты добился свободы, получил ключ от парадной двери. Не подчеркивай этого и ни в коем случае не оправдывайся. (Садится снова.) А теперь поговорим о твоем будущем, как следует между мужчинами... Изви­ни меня, Бидди: между двумя мужчинами и женщиной.

Леди Бритомарт (которая уже взяла себя в руки). Я очень хорошо понимаю, Стивен. Пожалуйста, иди своей дорогой, если чувствуешь себя достаточно сильным.

Стивен садится за письменный стол с видом человека, предъявляющего права на совершеннолетие.

Андершафт. Итак, решено: ты отказываешься от всяких претензий на оружейный завод.

Стивен. Надеюсь, решено, что я знать не хочу этого завода

Андершафт. Ну, ну! Нечего так дуться; это мальчишество. Свободный человек должен быть великодушным. Kpoме того, я обязан помочь тебе на первых порах, дать реванш за то, что лишил тебя наследства. Не сразу же ты станешь премьером. Может быть, у тебя есть к чему-нибудь склонность? К литературе, искусству и так далее?

Стивен. Слава богу, я, кажется, ничем не похож на богему ни по внешности, ни по характеру.

Андершафт. Может быть, ты философ, а?

Стивен. У меня нет таких смешных претензий.

Андершафт. Вот именно. Ну что ж, остаются армия, флот, церковь, суд. В суде требуются кое-какие способности. Не попробовать ли суд?

Стивен. Я не изучал юриспруденции. И пожалуй, у меня нет нужной энергии, — кажется, так юристы называют свою вульгарную назойливость, — чтобы вести дела успешно.

Андершафт. Положение довольно затруднительное, Сти­вен. Почти ничего не осталось, кроме сцены, а?

Стивен нетерпеливо отмахивается.

Ну, ну, ведь есть же что-нибудь такое, что ты любишь или знаешь?

Стивен (встает и смотрит на отца упорным взглядом). Я знаю разницу между добром и злом.

Андершафт (развеселившись до чрезвычайности). Да что ты говоришь? Как? Нет способностей к делам, знания зако­нов, склонности к искусству, никаких претензий на звание философа, — нет ничего, кроме знания тайны, которая ставила в тупик всех философов, всех законоведов, всех практических деятелей и погубила почти всех людей ис­кусства, — тайны добра и зла. Ну, милый мой, да ты ге­ний, мастер из мастеров, прямо бог! И это в двадцать четыре года!

Стивен (с трудом сдерживая раздражение). Вам угодно шу­тить. Я претендую только на то, на что по праву рожде­ния может претендовать каждый английский джентльмен. (В раздражении садится на место.)

Андершафт. О, по праву рождения на это может претендо­вать каждый. Возьми бедняжку Дженни Хилл, эту девоч­ку из Армии спасения! Если ты попросишь ее стать на перекрестке и обучать народ грамматике, географии, арифметике или даже салонным танцам, она подумает, что ты над ней смеешься, но ей и в голову не приходит усомниться в том, что она может обучать морали и рели­гии. Все вы на один лад, господа респектабельные люди. Вы не сможете ответить, каково предельное напряжение десятидюймовки, что очень просто; но все вы думаете, что вам известен предел напряжения у человека, который противится соблазну. Вы не посмеете дотронуться до динамита, зато бесцеремонно жонглируете честностью, истиной, справедливостью и долгом человека и в этой игре убиваете друг друга. Что за страна! Что за мир!

Леди Бритомарт (тревожно). Чем же ему лучше занять­ся, Эндру?

Андершафт. О, да как раз тем, чем он хочет. Он ничего не знает, а думает, что знает все. Это яснре указание на по­литическую карьеру. Устрой его секретарем к кому-ни­будь, кто может сделать его товарищем министра, и предоставь его собственным силам. Он сам отыщет свое место на краешке скамьи министров, уготованное ему естественным ходом вещей.

Стивен (опять вскакивает с места). Очень жаль, сэр, что вы заставляете меня забыть о том уважении, которое я обязан выказывать вам как отцу. Я — англичанин и не желаю слушать, как оскорбляют правительство моей страны. (Засунув руки в карманы, сердито отходит к окну.)

Андершафт (грубовато). Правительство твоей страны! Я — правительство твоей страны, я и Лейзерс. Неужели ты думаешь, что десяток дилетантов вроде тебя, усев­шись рядком в этой дурацкой говорильне, могут упра­влять Андершафтом и Лейзерсом? Нет, мой друг, вы бу­дете делать то, что выгодно нам. Вы объявите войну, если нам это будет угодно, и сохраните мир, если нам это подойдет. Вы обнаружите, что промышленности тре­буются такие-то мероприятия как раз тогда, когда мы решим эти мероприятия провести. Когда мне нужно бу­дет повысить дивиденды, вы найдете, что это государ­ственная необходимость. Когда другие захотят понизить мои дивиденды, вы призовете на помощь полицию и вой­ска. И за все это вы получите поддержку и одобрение моих газет, а также удовольствие воображать себя вели­кими государственными деятелями. Правительство твоей страны! Ступай, мой милый, играй в свои перевыборы, передовицы, исторические банкеты, в великих лидеров, в животрепещущие вопросы и в остальные твои игрушки. А я вернусь к себе в контору, заплачу музыкантам и за­кажу какую мне нужно музыку.

Стивен (со снисходительно-покровительственной улыбкой кладет руку на плечо отца). Право, милый папа, на вас невозможно сердиться: вы не можете себе представить, как нелепо все это звучит для меня. Вы совершенно справедливо гордитесь, что заработали деньги своим трудом и то, что вы заработали так много, делает вам честь. Но из-за этого вы остались в том кругу общества, где вас ценят только за ваши деньги и уступают вам ради них, а мои убеждения сложились в школе и университете, не­сомненно очень старомодных и отсталых. Для вас есте­ственно думать, что Англией правят деньги, но позволь­те мне знать, как это обстоит на самом деле.

Андершафт. Так скажи, пожалуйста, что же правит Ан­глией?

Стивен. Характер, папа, характер.

Андершафт. Чей характер? Твой или мой?

Стивен. Не ваш и не мой, а лучшие свойства английского национального характера.

Андершафт. Стивен, я нашел для тебя профессию. Ты при­рожденный журналист. Для начала я куплю тебе высо­конравственное еженедельное обозрение. Вот!

Прежде чем Стивен успевает ответить, входят Сара, Барбара, Ломэкс и Казенс, одетые для прогул­ки. Барбара подходит к окну и выглядывает на улицу. Ка­зенс направляется к креслу. Ломэкс остается возле двери. Сара подходит к матери. Стивен идет к письменному столу поменьше и берется за письма. Леди Бритомарт выходит из комнаты.

Сара. Подите оденьтесь, мама. Коляска ждет.

Андершафт. Здравствуй, милая. Добрый день, мистер Ломэкс.

Ломэкс (скороговоркой). Как поживаете?

Андершафт (Казенсу). Ну, а вы, Еврипид, как чувствуете себя после вчерашнего?

Казенс. Как нельзя лучше.

Андершафт. Вот это хорошо. (Барбаре.) Итак, ты едешь смотреть мою фабрику смерти и разрушения, Барбара?

Барбара (у окна). Вы же видели вчера мою фабрику спасе­ния. Я обещала нанести вам ответный визит.

Ломэкс (делает шаг вперед и останавливается между Сарой и Андершафтом). Вот увидите, что это потрясающе ин­тересно. Я был в Вулиджском арсенале, и прямо замеча­тельно, до чего чувствуешь себя в безопасности. Как по­думаешь, сколько этих молодчиков мы можем ухлопать, если дело дойдет до драки. (Андершафту, неожиданно переходя на торжественный тон.) А все же для вас это должно быть прямо ужасно, то есть с религиозной точки зрения. Годы ваши уже не молодые, знаете ли, и все такое.

Сара. Папа, ведь вас не сердит идиотизм Чолли?

Ломэкс (разом теряясь). Ну, знаете ли!

Андершафт. Мистер Ломэкс смотрит на дело весьма здра­во, моя милая.

Ломэкс. Вот, вот. Я ничего такого не хотел сказать, уверяю вас.

Сара. Ты едешь с нами, Стивен?

Стивен. Я, видишь ли, очень занят... э-э... (Великодушно.) Впрочем, я, пожалуй, поеду. То есть если для меня най­дется место.

Андершафт. Я могу взять двоих в маленькую машину, она у меня на испытании для военных целей. Элегантной ее назвать нельзя, она еще не крашена. Зато ни одна пуля ее не пробьет.

Ломэкс (в ужасе от мысли предстать перед Уилтон-креснт в некрашеной машине). Ну, знаете ли!

Сара. Благодарю вас, я поеду в коляске. Барбаре все равно, в какой машине ее увидят.

Ломэкс. Послушайте-ка, Долли, вам ведь все равно, что эта машина такое пугало? Потому что, если вам не все рав­но, я, так и быть, поеду в ней... А лучше бы...

Казенс. Я поеду в машине.

Ломэкс. Спасибо, старина. Пойдем, сокровище мое. (Спе­шит выйти, чтобы занять место в коляске.)

Сара идет за ним.

Казенс (угрюмо подходит к письменному столу леди Бритомарт. Барбаре). Зачем мы с вами едем в этот производ­ственный цех преисподней, спрашиваю я себя?

Барбара. Я всегда думала, что это что-то вроде подземелья, где грешники с черными лицами мешают кочергой дым­ный огонь, а мой отец командует ими и мучит их. Это так и есть, папа?

Андершафт (шокированный). Милая моя! Это безукориз­ненно чистый и красивый городок на склоне холма!

Казенс. С методистской часовней? О, скажите, что там есть методистская часовня!

Андершафт. Там их две: одна для тех, кто попроще, а дру­гая для более сложных натур. Есть даже Этическое обще­ство, но оно не пользуется успехом, потому что все мои рабочие очень религиозны. Они против того, чтобы в це­хах взрывчатых веществ присутствовали агностики, — они считают, что это небезопасно.

Казенс. Однако они не против нас.

Барбара. Они делают все, что ты прикажешь?

Андершафт. Я им никогда ничего не приказываю. Я с ними разговариваю в таком роде: «Ну, Джонс, малыш здо­ров? И миссис Джонс хорошо себя чувствует?» — «Очень хорошо, благодарю вас, сэр». Вот и все.

Казенс. Но ведь Джонса нужно держать в руках. Как вы поддерживаете дисциплину среди ваших рабочих?

Андершафт. Я в это не вмешиваюсь. Они сами ее поддер­живают. Джонс не потерпит, чтоб его подчиненный бун­товал, не потерпит, чтоб миссис Джонс была на равной ноге с женой рабочего, который получает на четыре шил­линга меньше, чем он сам. В принципе все они против меня, разумеется. На практике каждый из них распоря­жается тем, кто стоит ниже. Я никогда с ними не связы­ваюсь. Я вообще не командую. Не командую даже Лейзерсом. Я говорю, что то-то и то-то нужно сделать, но никому не отдаю приказаний. Заметьте, я не говорю, что приказания вообще не отдаются, что никто никем не по­мыкает, никто не командует. Рабочие помыкают ученика­ми и командуют ими, слесари третируют метельщиков, мастера командуют и теми и другими, техники приди­раются и к рабочим и к мастерам, инженеры — к техни­кам, заведующие цехами изводят инженеров, а контор­щики ходят в цилиндрах и с молитвенниками и под­держивают хороший тон, отказываясь общаться с кем бы то ни было. В результате — колоссальная прибыль, кото­рую получаю я.

Казенс (в возмущении). Вы, в самом деле... Ну то, что я вче­ра говорил!

Барбара. Что он вчера говорил?

Андершафт. Это неважно, милая. Он думает, что я сделал тебя несчастной. Разве это правда?

Барбара. Неужели вы думаете, что я могу быть счастливой в этом глупом платье? Я, которая носила мундир? Не­ужели вы не понимаете, что вы со мной сделали? Вчера в моих руках была душа человека. Я вывела его на путь истинный, обратила к богу. А когда мы взяли ваши день­ги, он вернулся к пьянству и неверию. (Страстно и убе­жденно.) Нет, я никогда вам этого не прощу. Если б у меня был ребенок и вы убили бы его вашим порохом, если б вы расстреляли Долли из ваших отвратительных пушек, я могла бы вас простить, для того чтобы мое прощение открыло вам врата рая. Но отнять у меня че­ловеческую душу и превратить ее в волчью! Это хуже убийства.

Андершафт. Неужели моя дочь так легко приходит в отчаяние? Разве можно поразить человека в сердце так, чтобы в сердце не осталось следа?

Барбара (лицо ее проясняется). Да, вы правы, Билл теперь не может погибнуть. Где же была моя вера?

Казенc. О хитрый, хитрый дьявол!

Барбара. Может быть, вы и дьявол, но бог иногда говорит вашими устами. (Берет руки отца и целует их.) Вы вер­нули мне мое счастье; я чувствую его где-то в глубине души, хотя дух мой и неспокоен.

Андершафт. Ты кое-чему научилась. Вначале это всегда ощущается как потеря.

Барбара. Что ж, везите меня на фабрику смерти и дайте мне научиться чему-нибудь еще. Должна же быть какая- нибудь правда за этой зловещей иронией. Идем, Долли. (Выходит.)

Казенc. Мой ангел-хранитель! (Андершафту.) Вперед! (Уходит за Барбарой.)

Стивен (спокойно, из-за письменного стола). Не обращайте внимания на Казенса, папа. Он очень славный и честный малый, но ведь он профессор греческого языка и, есте­ственно, немножко эксцентричен.

Андершафт. Ах, да, да. Благодарю тебя, Стивен, благода­рю. (Уходит.)

Стивен снисходительно улыбается, важно застегивает пальто на все пуговицы и направляется к двери. Леди Бритомарт, одетая для прогулки, появляется в две­рях. Она оглядывается в поисках остальных, смотрит на Стивена и, не говоря ни слова, поворачивается, чтобы уйти.

Стивен (в смущении). Мама...

Леди Бритомарт. Не оправдывайся, Стивен. И не забы­вай, что ты перерос свою мать. (Уходит.)

Перивэйл Сент-Эндрюс расположен между двумя холма­ми Мидлсекса и взбирается до половины северного холма. Дыма почти не видно, везде белые стены, красные и зе­леные черепичные крыши, высокие деревья, купола, коло­кольни и стройные дымовые трубы; город красив сам по себе и красиво расположен. Самый лучший вид открывает­ся со склона холма в полумиле от города на восток, с территории, где производят взрывчатые вещества. За­вод прячется в котловине между холмами, и только верхушки труб выглядывают как огромные кегли. На верши­не холма бетонная площадка с парапетом, на ней видна пушка устарелого образца, направленная на город. Пушка стоит на лафете оригинального устройства; возможно, это модель самоходного орудия, о котором упоминал Стивен. С внутренней стороны парапета высокая сту­пенька, на которой можно сидеть; на ней разбросаны со­ломенные маты, имеется даже такая роскошь, как мехо­вой коврик.

Барбара стоит на ступеньке, облокотившись на пара­пет, и смотрит на город. Справа от нее пушка, слева — стена сарая на столбах; три-четыре ступеньки ведут к двери, которая открывается наружу, на маленькое дере­вянное крыльцо с пожарным ведром в углу. Несколько ма­некенов в более или менее растерзанном виде, с торчащей отовсюду соломой, убранные с дороги, выглядывают из- под крыльца. Еще несколько прислонены к стенке, один из манекенов свалился и лежит, как мертвое тело, на бето­нированной платформе. Между парапетом и сараем сво­бодный проход; видна дорожка, ведущая вниз, на завод, и дальше — в город. На площадке позади пушки стоит ва­гонетка с огромным орудийным снарядом, перечеркнутым посредине полосой красной масляной краски. Дальше, на­право — дверь конторы, строения такой же легкой кон­струкции, как и сарай. Казенс идет по дорожке из города.

Барбара. Ну?

Казенс. Ни проблеска надежды. Все доведено до совершенства! Невероятно, но это так. Не хватает только собора, чтобы из ада этот город превратился в рай!

Барбара. Удалось вам узнать, что они сделали для старика Питера Шерли?

Казенс. Ему дали место сторожа и табельщика. Не­счастный! Работу табельщика он считает умственным трудом и говорит, что она ему не по силам, а сторожка слишком для него великолепна, и он ютится в чулане.

Барбара. Бедный Питер!

Из города идет Стивен. В руках у него полевой би­нокль.

Стивен (с энтузиазмом). Ну как, видели? Почему вы от нас ушли?

Казенс. Я хотел видеть все, что мне не собирались показывать, а Барбаре хотелось послушать рабочих.

Стивен. Нашли какие-нибудь недостатки?

Казенс. Нет. Рабочие зовут его Дэнди-Энди и гордятся тем, что он такой продувной старый плут. Но все здесь дове­дено до невероятного, противоестественного, отврати­тельного, пугающего совершенства.

Появляется Сара.

Сара. Боже, какая прелесть! (Подходит к вагонетке.) Видели вы детские ясли? (Садится на снаряд.)

Стивен. Видели вы библиотеки и школы?

Сара. Видели вы танцевальный и банкетный залы в здании городского совета?

Стивен. А вы заходили в страховую кассу, пенсионный фонд, в строительное общество, в магазины?

Из конторы выходит Андершафт с пачкой теле­грамм в руке.

Андершафт. Ну, вы все осмотрели? Мне очень жаль, что меня вызвали. (Указывая на телеграммы.) Добрые вести из Маньчжурии.

Стивен. Опять японцы победили?

Андершафт. Не знаю, право. Нас тут не интересует, какая сторона победит. Нет, хорошие веста о том, что воз­душный броненосец обнаружил поразительные достоин­ства: в первом же деле он стер с лица земли укрепление с тремястами солдат.

Казенс (с платформы). Манекенов?

Андершафт (направляясь к Стивену, резким движением от­швыривает с дороги лежащий манекен). Нет, живых солдат.

Казенс и Барбара переглядываются. Казенс садится на ступеньку и закрывает лицо руками. Барбара кладет ему руку на плечо. Он смотрит на нее в комическом отчаянии.

Ну, Стивен, что ты скажешь?

Стивен. О, изумительно! Истинный триумф современной техники. Надо признать, папа, я был глуп; я понятия не имел, что все это значит; сколько сюда вложено предви­денья, сколько организационного уменья, администра­тивного таланта, какой финансовый гений, какой колос­сальный капитал! Когда я шел по вашим улицам, я нее повторял себе: «Мир одерживает победы не менее славные, чем война». Во всем этом я нахожу только один недостаток.

Андершафт. А ну-ка!

Стивен. Я не могу не думать, что все эти попечения о нуж­дах ваших рабочих подрывают в них независимость и ос­лабляют чувство ответственности. И хотя мы с насла­ждением пили чай в вашем великолепном ресторане,— как они дают всю эту роскошь, торт, варенье и сливки, за три пенса, я просто не могу себе представить, — одна­ко не надо забывать, что рестораны губительно влияют на семейную жизнь. Посмотрите, что делается на конти­ненте. Вы уверены, что от всего этого не портится харак­тер ваших рабочих?

Андершафт. Видишь ли, мой милый мальчик, когда со­здаешь цивилизацию, нужно раз навсегда решить, по­лезны ли человеку заботы и беспокойство. Если они, по-твоему, полезны, нечего и думать о цивилизации. А тогда можешь себя поздравить: на земле достанет за­бот и беспокойства для того, чтобы у всех нас вырабо­тался ангельский характер. Но если ты придешь к обрат­ному решению, то уж и поступай соответственно. Тем не менее, Стивен, за наши характеры здесь не приходится опасаться. Достаточную дозу тревоги в нас вселяет то обстоятельство, что все мы в любую минуту можем взле­теть на воздух.

Сара. Кстати, папа, где у вас вырабатываются взрывчатые вещества?

Андершафт. В маленьких строениях, вот вроде этого. Ког­да такое строение взрывается, это обходится совсем не­дорого; гибнут только те рабочие, которые находятся в непосредственной близости от него.

Стивен, который находится в непосредственной близости от строения, смотрит на него в испуге и быстро отходит к орудию. В ту же минуту дверь сарая открывается настежь. Мастер, в комбинезоне и легких туфлях, выходит на крыльцо, придерживая дверь для Ломэкса, который появляется на пороге.

Ломэкс (с наигранным хладнокровием). Не волнуйтесь, лю­безный. Ничего с нами не случится, да если б и случи­лось, не начнется же от этого светопреставление. Не­множко британского мужества — вот чего вам не хватает, старина. (Спускается с лестницы и идет к Саре.)

Андершафт (мастеру). Что-нибудь случилось, Билтон?

Билтон (с ироническим спокойствием). Джентльмен вошел в цех взрывчатых веществ и закурил папиросу — вот и все, сэр.

Андершафт. Ах, вот как! (Подходит к Ломэксу.) Вы не помните, куда девали спичку?

Ломэкс. О! Подите вы! Что, я дурак, что ли? Я хорошенько задул ее, прежде чем бросить.

Билтон. Головка была ярко-красная внутри, сэр.

Ломэкс. Ну так что же, что была! Я ведь не бросил ее в это ваше месиво.

Андершафт. Не стоит беспокоиться, мистер Ломэкс. Кста­ти, не одолжите ли вы мне ваши спички?

Ломэкс (подает коробок). Пожалуйста.

Андершафт. Благодарю. (Прячет коробок в карман.)

Ломэкс (назидательно, ко всем вообще). Эти взрывчатые ве­щества, знаете ли, разносят все вдребезги, только когда вы палите из оружия. А когда они рассыпаны, можно поднести к ним спичку: они тлеют, как лист бумаги. (В нем пробуждается научный интерес к этой теме.) Вы это знаете, Андершафт? Пробовали когда-нибудь?

Андершафт. В больших масштабах не пробовал, мистер Ломэкс. Если вы попросите Билтона, он вам даст образцы гремучей ваты, когда будете уходить. Можете производить опыты у себя дома.

Билтон смотрит с удивлением.

Сара. Билтон не сделает ничего подобного, папа. Это уж ва­ше дело — взрывать там всяких русских и японцев; но бедняжку Чолли я не дам в обиду.

Билтон, махнув на нее рукой, уходит в сарай.

Ломэкс. Мое сокровище, опасности никакой нет. (Садится рядом с ней на снаряд.)

По дороге поднимается леди Бритомарт с буке­том цветов.

Леди Бритомарт (стремительно). Эндру, лучше бы ты не показывал мне этот завод.

Андершафт. Почему, милая?

Леди Бритомарт. Все равно почему, не надо было, и де­лу конец. Подумать только, что все это (указывая на го­род) твое и что ты скрывал все это от меня столько лет.

Андершафт. Город не принадлежит мне. Я принадлежу го­роду. Он — наследие Андершафтов.

Леди Бритомарт. Нет, нет! Все эти нелепые пушки, этот шумный, грохочущий завод могут быть наследием Ан­дершафтов, но серебро и скатерти, мебель, дома, фруктовые сады и цветочные клумбы принадлежат нам. То есть мне — это не мужское дело. Я их не отдам. Ты, дол­жно быть, с ума сошел, что отдаешь все это так просто; и если ты будешь упорствовать в своем безумии, я при­глашу доктора.

Андершафт (нагибаясь и нюхая цветы). Откуда у тебя эти цветы, милая?

Леди Бритомарт. Это твои рабочие поднесли их мне в рабочей церкви имени Уильяма Морриса.

Казенс. О, только этого не хватало. Рабочая церковь! (Рас­сеянно поднимается на ступеньку и облокачивается на па­рапет, повернувшись ко всем спиной.)

Леди Бритомарт. Да, и со словами Морриса: «Ни один человек не имеет права быть хозяином другого». Пред­ставьте себе, мозаика вокруг всего купола, каждая буква в десять футов высотой. Каков цинизм!

Андершафт. Сначала эта надпись бесила рабочих, а теперь они перестали ее замечать, как десять заповедей в катехизисе.

Леди Бритомарт. Эндру, ты стараешься отвести мне гла­за своими нечестивыми шутками. Тебе это не удастся, я не брошу разговора о наследстве. Я уже не прошу о Стивене, он унаследовал твои превратные взгляды. Но у Барбары не меньше прав, чем у Стивена. Почему бы Адольфу не унаследовать завод? Я бы могла управлять городом вместо него, а он пускай смотрит за пушками, если они нужны кому-нибудь.

Андершафт. Я бы не желал ничего лучше, если бы Адольф был найденыш. В нем как раз та свежая кровь, которая нужна английской промышленности. Но он не найденыш, значит, и толковать нечего. (Направляется к дверям конторы.)

Казенс (оборачивается к нему). Это не совсем верно.

Все оборачиваются и смотрят на него.

Я полагаю — заметьте, я ничем себя не связываю и не даю никаких обещаний, — однако полагаю, что вопрос о найденыше можно уладить. (Соскакивает вниз.)

Андершафт (возвращается). Что вы хотите этим сказать?

Казенс. Я должен сделать нечто вроде признания.

Сара, Леди Бритомарт, Барбара, Стивен (вместе). Признания?!

Ломэкс. Ну, знаете ли!

Казенс. Да, признания. Слушайте все. До тех пор пока я не встретился с Барбарой, я считал себя человеком в общем честным и правдивым, потому что чистая совесть была для меня дороже всего на свете. Но в ту минуту, как я увидел Барбару, она стала для меня дороже чистой совести.

Леди Бритомарт. Адольф!

Казенс. Это правда. Вы сами, леди Брит, обвиняли меня в том, что я вступил в Армию спасения только для того, чтобы поклоняться Барбаре, и вы были правы. Она купи­ла мою душу, как цветок на перекрестке, но купила для себя.

Андершафт. Как! Не для Диониса или кого-нибудь друго­го в этом роде?

Казенс. Дионис и все другие заключены в ней самой. Я по­клонялся тому, что было в ней божественного, и потому моя вера была истинной. Но я тоже идеализировал ее. Я думал, что она женщина из народа и что брак с препо­давателем греческого языка превзойдет самые честолю­бивые мечты девушки ее круга.

Леди Бритомарт. Адольф!

Ломэкс. Ну, знаете ли!!!

Казенс. Когда я узнал ужасную правду...

Леди Бритомарт. Что вы подразумеваете под ужасной правдой, скажите, пожалуйста?

Казенс. Что она сверхъестественно богата, что ее дедушка - граф, что ее отец — Князь тьмы...

Андершафт. Ш-ш!

Казенс. ...и что я только авантюрист, который ловит бога­тую невесту, я унизился до того, что скрыл свое проис­хождение.

Барбара (вставая). Долли!

Леди Бритомарт. Ваше происхождение! Ну, Адольф, не смейте выдумывать истории ради этих несчастных пушек. Не забудьте, я видела фотографии ваших родителей, а ге­неральный агент юго-западной Австралии знает их лично и уверял меня, что это почтенная супружеская чета.

Казенс. То в Австралии, а здесь они отщепенцы. Их брак за­конен в Австралии, но не в Англии. Моя мать — сестра покойной жены моего отца, и, следовательно, на этом острове я считаюсь подкидышем.

Всеобщее изумление.

Бapбapа. Как глупо! (Забралась поближе к пушке и слушает, стоя между пушкой и парапетом.)

Казенс. Годится вам такая отговорка, Макиавелли?

Андершафт (задумчиво). Бидди, а ведь это может быть выходом из положения.

Леди Бритомарт. Пустяки! Не будет же он хорошо де­лать пушки оттого, что оказался собственным двою­родным братом, вместо того чтобы быть самим собой. (Садится на меховой коврик с размаху, что выражает ее откровенное презрение к казуистике.)

Андершафт (Казенсу). Вы человек образованный. Это про­тив традиции.

Казенс. Один раз из десяти тысяч случается, что школьник от природы владеет тем, чему его хотят научить. Грече­ский язык не искалечил моей души, он ее воспитал. Кро­ме того, я учился не в английской школе.

Андершафт. Гм! Мне, конечно, не пристало быть разбор­чивым: спрос на подкидышей превышает предложение. Не будем вдаваться в подробности. Годитесь, Еврипид, годитесь.

Барбара. Долли, вчера вечером, когда Стивен рассказывал нам насчет традиции Андершафтов, вы что-то замолчали и после того держались очень странно и были взволно­ваны. Вы думали о вашем происхождении?

Казенс. Когда перст судьбы касается человека во время зав­трака, ему поневоле приходится задуматься.

Андершафт. Ага! Так вы уже присматривались к делу, мой друг?

Казенс. Берегитесь! Между мной и вашими проклятыми воздушными кораблями лежит пропасть морального от­вращения.

Андершафт. Сейчас не в этом суть. Уладим практическую сторону вопроса, а окончательное решение пускай остает­ся за вами. Вы знаете, что вам придется переменить имя. Надеюсь, вы не возражаете?

Казенс. Неужели человек, которого зовут Адольф — ласка­тельно Долли! — может возражать против какого-нибудь другого имени!

Андерщафт. Отлично! А теперь о деньгах. Я с самого начала проявляю к вам щедрость. Вы начнете с тысячи в год.

Казенс (вдруг оживляется, и очки его поблескивают лукав­ством). С тысячи! Вы осмеливаетерь предлагать какую-то несчастную тысячу зятю миллионера! Нет, Макиавелли, клянусь богом, вы меня не надуете. Вам без меня не обойтись, а я без вас обойдусь. Мне нужно две с полови­ной тысячи в год в течение первых двух лет. Через два года, если я окажусь непригодным, я уйду. Но если я оправдаю ваши надежды и останусь, вы дадите мне остальные пять тысяч.

Андершафт. Какие это остальные пять тысяч?

Казенс. За два года, чтоб выходило по пяти тысяч в год. Две с половиной тысячи — это половинное жалованье, на случай, если от меня не будет прока. На третий год я должен получить десять процентов прибыли.

Андершафт (озадаченный). Десять процентов! Да знаете ли вы, милейший, какова у меня прибыль?

Казенс. Огромная, надеюсь. Иначе я потребовал бы все двадцать пять.

Андершафт. Однако, мистер Казенс, ведь это не шутка, а серьезное дело. Вы же не вкладываете капитала в наше предприятие.

Казенс. Как не вкладываю! А мое знание греческого языка, разве это не капитал? Мне доступны тончайшие изгибы мысли, высочайшие вершины поэзии, завоеванные чело­вечеством, и это, по-вашему, не капитал? Мой характер, мой ум, моя жизнь, моя карьера — то, что Барбара назы­вает моей душой, — разве это не капитал? Попробуйте только пикнуть, и я удвою себе жалованье!

Андершафт. Образумьтесь же...

Казенс (повелительно). Мистер Андершафт, вам известны мои условия. Хотите — принимайте, хотите — нет.

Андершафт (опомнившись). Очень хорошо: я принял ваши условия к сведению и даю вам половину.

Казенс (презрительно). Половину!

Андершафт (твердо). Половину.

Казенс. Предлагаете мне половину, а еще называете себя джентльменом!

Андершафт. Я не называю себя джентльменом и даю вам половину.

Казенс. И это своему будущему компаньону, своему наслед­нику, своему зятю!

Барбара. Вы продаете свою душу, Долли, не мою. Увольте меня, пожалуйста.

Андершафт. Ну ладно! Ради Барбары я пойду вам на­встречу. Три пятых! И это мое последнее слово.

Казенс. По рукам.

Ломэкс. Вот это ловко! Я сам, знаете ли, получаю всего восемьсот фунтов.

Казенс. Кстати, Макиавелли, я классик, а не математик. Три пятых больше или меньше половины?

Андершафт. Разумеется, больше.

Казенс. Я согласился бы и на двести пятьдесят фунтов. Как вы можете успешно вести дела, когда выбрасываете та­кую уйму денег несчастному университетскому профессо­ру, который не годится в подметки вашему младшему клерку? Ну, ну! Что скажет Лейзерс?

Андершафт. Лейзерс — кроткий и романтичный еврей, ко­торого интересуют только струнные квартеты да ложи в модных театрах. Ему, бедняге, будут приписывать ва­шу жадность в денежных делах, как до сих пор приписы­вали мою. Вы — акула первого ранга, Еврипид. Тем луч­ше для фирмы.

Барбара. Сделка заключена, Долли? Теперь ваша душа принадлежит ему?

Казенс. Нет, цена назначена, вот и все. Еще посмотрим, кто кого. А соображения этического порядка?

Леди Бритомарт. Какие этические соображения, Адольф? Вы просто будете продавать пушки и оружие людям, которые сражаются за правое дело, и отказывать в них иностранцам и преступникам.

Андершафт (решительно). Ну нет, ничего подобного. Вы должны держаться правил истинного оружейника, иначе вам у нас не место.

Казенс. Что это за правила истинного оружейника?

Андершафт. Продавать оружие всякому, кто предложит за него настоящую цену, невзирая на лица и убеждения: аристократу и республиканцу, нигилисту и царю, капита­листу и социалисту, протестанту и католику, громиле и полисмену, черному, белому и желтому, людям всякого рода и состояния, любой национальности, любой веры, любой секты, для правого дела и для преступления. Первый из Андершафтов написал над дверью своей ма­стерской: «Бог сотворил руку, человек же да не отнимет меча». Второй написал так: «Каждый имеет право сра­жаться, никто не имеет права судить». Третий написал: «Оружие — человеку, победа — небесам». У четвертого не было склонности к литературе, поэтому он не написал ничего, зато продавал пушки Наполеону под самым но­сом у Георга Третьего. Пятый написал: «Мир должно охранять с мечом в руке». Шестой, мой учитель, превзо­шел всех. Он написал: «Ничто в мире не будет сделано, пока люди не начнут убивать друг друга из-за того, что не сделано». Седьмому уже нечего было сказать. И пото­му он написал только: «Без стыда».

Казенс. Любезный Макиавелли, конечно, и я напишу что-ни­будь на стене, но, так как это будет написано по-грече­ски, вы ничего не поймете. Что же касается ваших пра­вил оружейника, то я не для того вынул шею из петли собственного кодекса морали, чтобы сунуть ее в новую петлю. Я буду продавать пушки кому вздумаю и отказы­вать кому вздумаю. Вот вам!

Андершафт. С той минуты, как вы станете Эндру Андершафтом, вам уже не придется поступать как вздумается. Если вы жаждете власти, держитесь от нас подальше, мо­лодой человек.

Казенс. Если б я стремился к власти, то не пришел бы за ней сюда. Какая у вас власть!

Андершафт. Конечно, своей власти у меня нет.

Казенс. У меня больше власти, чем у вас, и больше воли. Вы не управляете этим городом, он правит вами. А что правит этим городом?

Андершафт (загадочно). Воля пославшего меня.

Барбара (в изумлении). Отец! Понимаете ли вы, что говорите? Или вы расставили силки моей душе?

Казенс. Не слушайте его мудрствований, Барбара. Заводом правит самая подлая часть общества: охотники за день­гами, за удовольствиями, за чинами, и он — их раб.

Андершафт. Не обязательно. Вспомните правила оружей­ника. Я приму заказ от честного человека с такой же охо­той, как и от негодяя. Если ваши честные люди предпочитают проповедовать и прятаться в кусты, вме­сто того чтобы покупать мое оружие и драться с него­дяями, меня винить не за что. Я фабрикую пушки, но не храбрость и стойкость убеждений. Ах, Еврипид, как вы мне надоели, торгуясь из-за морали! Спросите Барбару, она понимает. (Неожиданно берет Барбару за руки властно смотрит ей в глаза.) Скажи ему, дорогая, что такое настоящая власть.

Барбара (словно под гипнозом). Пока я не вступила в Ар­мию спасения, я не знала над собой власти, кроме своей собственной, и потому не знала, куда себя девать. Koгдa я вступила в Армию, у меня не хватало времени, чтобы сделать все, что нужно.

Андершафт (одобрительно). Совершенно верно. А почему это, как ты думаешь?

Барбара. Вчера я ответила бы: потому, что я была во власти бога. (Овладев собой, она вырывает свои руки из рук Андершафта с силой, которая не уступает его собствен­ной.) Но вы пришли и доказали мне, что я была во вла­сти Боджера и Андершафта. А сегодня я чувствую... О, как высказать это словами? Сара, ты помнишь землетря­сение в Каннах, когда мы были детьми? Каким нич­тожным казалось смятение после первого толчка сравни­тельно с ужасом ожидания второго! Вот это я и чувствую сегодня. Я стояла на скале, которую считала незыблемой, и вдруг без всякого предупреждения она за­качалась и рухнула подо мной. Всемогущий разум охра­нял меня, я шла к спасению вместе с Армией, и в одно мгновение, одним росчерком вашего пера в чековой книжке вы отняли у меня все, я осталась одна — и небеса опустели. Это был первый толчок землетрясения, теперь я жду второго.

Андершафт. Ну, ну, Барбара! Эта твоя трагедия выеденно­го яйца не стоит. Что мы здесь делаем, когда, потратив годы работы, массу умственной энергии и тысячи фунтов звонкой монеты на новое орудие или воздушный ко­рабль, мы в конце концов видим, что наши расчеты ока­зались на какой-нибудь волосок неверны? Ломаем все. Ломаем, не тратя больше ни времени, ни денег. Ты со­здала для себя нечто такое, что называешь моралью, ре­лигией или еще как-нибудь. Оказалось, что она не со­ответствует действительности. Что ж, сломай ее и добудь себе новую. В этом сейчас и заключается заблуждение всего мира. Он ломает устарелые паровозы и динамо, но не хочет трогать старых предрассудков, старой морали, старой религии и старых политических установлений. Ка­ковы результаты? В области техники все обстоит благо­получно, но в области морали, религии и политики мы с каждым годом все ближе к банкротству. Не упорствуй в этом заблуждении. Если твоя старая религия вчера по­терпела крах, создай сегодня новую, лучшую.

Барбара. С какой радостью я раскрыла бы свое сердце перед лучшей религией! Но ты предлагаешь мне худшую. (Повернувшись к нему, с неожиданной силой.) Оправдай­ся : покажи мне хоть проблеск света во тьме этого страш­ного места, в красивых, опрятных мастерских, в образцовых домах, где живут степенные рабочие.

Андершафт. Опрятность и степенность не нуждаются в оправдании, Барбара: они говорят сами за себя. Я не вижу здесь ни тьмы, ни ужаса. В твоем убежище я видел нищету, холод и голод. Ты давала им хлеб с патокой и мечту о небесах. Я даю им от тридцати шиллингов в неделю до двенадцати тысяч в год. Мечту они найдут себе сами; мое дело следить за канализацией.

Барбара. А их души?

Андершафт. Я спасаю их души так же, как спас твою.

Барбара (возмутившись). Вы спасли мою душу! Что вы хо­тите этим сказать?

Андершафт. Я кормил тебя и одевал, и дал тебе приют. Я заботился о том, чтобы ты жила в достатке, — давал денег больше, чем нужно, так что ты могла быть расто­чительной, щедрой, великодушной. Это спасло твою ду­шу от семи смертных грехов.

Барбара (в смущении). Or семи смертных грехов!

Андершафт. Да, от семи смертных грехов. (Считает по пальцам.) Пища, одежда, дрова, квартирная плата, нало­ги, респектабельность и дети. Ничто, кроме денег, не мо­жет снять эти семь жерновов с шеи человека, а дух не может воспарить, пока жернова тянут книзу. Я снял их с твоего духа. Я помог Барбаре стать майором Барба­рой, я спас ее от преступления нищеты.

Барбара. Вы называете нищету преступлением?

Андершафт. Тягчайшим из преступлений. Все другие пре­ступления — добродетели рядом с нею, все другие поро­ки — рыцарские добрести в сравнении с нищетой. Нищета губит целые города, распространяет ужасные эпидемии, умерщвляет даже душу тех, кто видит ее со стороны, слышит или хотя бы чует ее запахи. Так называемое пре­ступление — сущие пустяки: какое-нибудь убийство или кража, оскорбление словом или действием. Что они зна­чат? Они только случайность, только вывих; во всем Лондоне не наберется и пятидесяти настоящих преступ­ников-профессионалов. Но бедняков — миллионы; это опустившиеся люди, грязные, голодные, плохо одетые. Они отравляют нас нравственно и физически, они губят счастье всего общества, они заставили нас расстаться со свободой и организовать противоестественный жестокий общественный строй из боязни, что они восстанут против нас и увлекут за собой в пропасть. Только глупцы боятся преступления; но все мы боимся нищеты. Ба! (Барбаре) Тебе жаль твоего полуспасенного хулигана из Вестхэма, ты обвиняешь меня в том, что я подтолкнул его душу на путь гибели. Что ж, приведи его сюда, и я толкну его обратно, на путь спасения. Не словами и не мечтой, а постоянной работой, хорошим жильем в здоровой местно­сти, тридцатью восьмью шиллингами в неделю. Через три недели он заведет себе пестрый жилет, а через три месяца — цилиндр и место на церковной скамье; не пройдет и года, как он будет пожимать руку какой-ни­будь герцогине на заседаниях Лиги Подснежника и всту­пит в партию консерваторов.

Барбара. И от этого он станет лучше?

Андершафт. Ты сама знаешь, что да. Не лицемерь, Барба­ра. Он будет лучше есть, жить в лучших условиях, лучше одеваться, лучше держать себя, дети его прибавят в весе. Это лучше, чем клеенчатый матрас в убежище, колка дров, хлеб с патокой вместо обеда, за каковые блага он обязан то и дело становиться на колени и благодарить бога; у вас это, помнится, называют «коленопреклонение в строю». Какая дешевка — обращать ко Христу го­лодных людей! С Библией в одной руке и с куском хле­ба—в другой. На таких условиях я взялся бы обратить Вестхэм в магометанство. Попробуй-ка обратить моих рабочих: душа их голодает, потому что тело сыто.

Барбара. А Ист-Энд обречь на голодную смерть?

Андершафт (тон у него меняется под влиянием горьких и печальных воспоминаний). Я сам родом из Ист-Энда. Я голодал и философствовал, пока в один прекрасней день не поклялся, что буду сытым и свободным челове­ком, что меня не остановят ни доводы рассудка, ни мо­раль, ни жизнь мне подобных, а разве только пуля. Я сказал ближнему: «Умирай с голоду, лишь бы мне остаться в живых» — и с помощью этих слов стал сво­бодным и сильным. Пока я не добился своего, я был опасный человек, а теперь я полезный член общества, благодушный и доброжелательный джентльмен. Такова, мне думается, история большинства миллионеров-само­учек. Когда она станет историей каждого англичанина, Англия будет страной, в которой стоит жить.

Леди Бритомарт. Довольно ораторствовать, Эндру. Здесь это не к месту.

Андершафт (задетый за живое). Милая, я не знаю другого способа передавать свои мысли.

Леди Бритомарт. Твои мысли — вздор. Ты выдвинулся потому, что был эгоистичен и ничем не гнушался.

Андершафт. Вовсе нет. Я больше всего гнушался нищеты и голода. Ваши моралисты их не гнушаются: и то и дру­гое они возводят в добродетель. Я скорее стал бы вором, чем попрошайкой, скорее убийцей, чем рабом. Я не хочу быть ни тем, ни другим, но если вы принуждаете меня выбирать — клянусь богом, я выберу то, что честнее и нравственнее. Я ненавижу нищету и рабство больше, чем самое гнусное из преступлений. И позвольте мне ска­зать вам следующее: ваши проповеди и газетные статьи в течение веков не могли уничтожить нищету и рабство, а мои пулеметы уничтожат их. Не разглагольствуйте о них, не спорьте с ними. Убейте их.

Барбара. Убить! Так это ваше универсальное средство?

Андершафт. Это последний довод, единственный рычаг, который может перевернуть общественный строй, един­ственный способ сказать: «Так должно». Попробуй выпу­стить шестьсот семьдесят полоумных на улицу, и три по­лисмена смогут разогнать их. Но посади их в известном здании Вестминстера, позволь им проделать разные цере­монии и надавать себе разных титулов, они соберутся с духом и начнут убивать; тогда эти шестьсот семьдесят полоумных станут правительством. Ваша благочестивая чернь заполняет избирательные листки и думает, что правит своими хозяевами, но правит только тот избира­тельный список, в который завернута пуля.

Казенс. Быть может, поэтому я, как и большинство умных людей, никогда не голосую.

Андершафт. Не голосуйте! Когда вы голосуете, меняются только фамилии в составе кабинета министров. Когда вы стреляете, вы свергаете правительство, начинаете новую эпоху, отменяете старый режим и вводите новый. Исто­рия учит нас тому же, господин ученый, или нет?

Казенс. История учит нас тому же. Как мне ни противно, я должен это сказать. Мне ненавистны ваши чувства. Мне ненавистно все ваше существо. Я не согласен с вами ни в одном пункте. И все же это правда, хотя должно быть ложью.

Андершафт. Должно, должно, должно! Что же, вы всю жизнь будете повторять «должно», вслед за прочими мо­ралистами? Научитесь говорить: «Так будет» вместо: «Так должно быть». Идите делать со мной порох. Тот, кто умеет взрывать на воздух людей, сумеет взорвать на воздух и общество. История мира есть история тех, у ко­го было достаточно храбрости, чтоб не убояться этой ис­тины. Хватит ли у тебя для этого храбрости, Барбара?

Леди Бритомарт. Барбара, я положительно запретам тебе слушать безнравственные речи твоего отца. А вам, Адольф, не следовало бы называть все дурное правдой. Что в том, что это правда, если это дурно?

Андершафт. Что в том, что это дурно, если это правда?

Леди Бритомарт (вставая). Дети, едемте сейчас же до­мой. Эндру, я крайне сожалею, что позволила тебе при­ехать к нам. Ты стал еще хуже, чем прежде. Сейчас же едемте домой.

Барбара (качая головой). Бесполезно бегать от дурных людей, мама.

Леди Бритомарт. Очень даже полезно. Это показывает, что вы их не одобряете.

Барбара. Это их не спасет.

Леди Бритомарт. Я вижу, что ты не хочешь меня слу­шаться. Сара, едешь ты домой или нет?

Сара. Очень дурно с папиной стороны делать пушки, но я не думаю, что из-за этого мне следует избегать его.

Ломэкс (льет елей на бушующие волны). Дело в том, знаете ли, что во всех этих разговорах о безнравственности много-таки всякого вздора. Это ни к чему. Нужно же считаться с фактами. Не то чтоб я вступался за что-ни­будь нехорошее, а только, видите ли, разные есть люди, и поступают они по-разному: ведь надо же куда-то их де­вать, знаете ли. Я хочу сказать, нельзя же всех выкинуть за борт, то есть приблизительно к этому дело и сводится. (Общее внимание к его речи действует Ломэксу на нер­вы.) Может быть, я неясно выражаюсь?

Леди Бритомарт. Вы сама ясность, Чарлз. Из-за того, что Эндру повезло в жизни и у него много денег для Сары, вы ему льстите и поощряете в нем безнравствен­ность.

Ломэкс (невозмутимо). Что ж, где есть падаль, туда слета­ются орлы, знаете ли. (Андершафту.) А? Как по-вашему?

Андершафт. Совершенно верно. Кстати, вы разрешите мне звать вас Чарлзом?

Ломэкс. Буду в восторге. Моя обычная кличка — Чолли.

Андершафт (леди Бритомарт). Бидди...

Леди Бритомарт (яростно). Не смей называть меня Бидди. Чарлз Ломэкс, вы дурак. Адольф Казенс, вы иезуит. Стивен, ты ханжа. Барбара, ты сумасшедшая. Эндру, ты самый обыкновенный торгаш. Теперь вы все знаете, что я о вас думаю; совесть моя чиста, во всяком случае. (Са­дится на место с энергией, которую, к счастью, смягчает меховой коврик.)

Андершафт. Милая, ты воплощенная нравственность.

Она фыркает.

Твоя совесть чиста, и долг твой исполнен, когда ты всех обругала. Ну, Еврипид, уж поздно, и всем хочется домой. Решайтесь.

Казенс. Поймите же, старый вы дьявол...

Леди Бритомарт. Адольф!

Андершафт. Оставь его, Бидди. Продолжайте, Еврипид.

Казенс. Вы ставите передо мной ужасную дилемму. Мне нужна Барбара.

Андершафт. Как все молодые люди, вы сильно преувели­чиваете разницу между той или другой молодой жен­щиной.

Барбара. Совершенно верно, Долли.

Казенс. И, кроме того, я не желаю быть мошенником.

Андершафт (с уничтожающим презрением). Вы желаете быть добродетельным, уважать самого себя. Достиг­нуть того, что вы называете чистой совестью, Барбара — спасением, а я — снисходительностью к людям, которым повезло меньше вашего.

Казенс. Нет, поэт во мне противится всякой благонамерен­ности. Но во мне есть чувства, с которыми я считаюсь. Жалость...

Андершафт. Жалость! Пиявка, присосавшаяся к нищете.

Казенс. Ну, любовь.

Андершафт. Знаю. Вы любите порабощенных: любите вос­ставших негров, индусов, угнетенных всего мира. А япон­цев вы любите? А французов? А англичан?

Казенс. Нет. Всякий истинный англичанин терпеть не может англичан. Мы самый дурной народ на земле, и наши успехи внушают отвращение.

Андершафт. Это выводы из вашего евангелия любви?

Казенс. Неужели мне нельзя любить даже собственного тестя?

Андершафт. Кому нужна ваша любовь, милейший? По ка­кому праву вы беретесь навязывать ее мне? Вы должны меня уважать, оказывать мне почтение, иначе я вас убью! А ваша любовь? Какая дерзость!

Казенс (ухмыляясь). Я, может быть, не в состоянии скрыть свои чувства, Макиавелли.

Андершафт. Плохо парируете, Еврипид. Вы ослабели, рука у вас дрожит. Ну, пустите в ход последнее оружие. Жа­лость и любовь сломались у вас в руках, осталось еще прощение.

Казенс. Нет, прощать — это удел нищих. В этом я с вами согласен: долги нужно платить.

Андершафт. Хорошо сказано. Что же, вы мне подходите. Вспомните слова Платона.

Казенс (содрогаясь). Платона! Вы смеете цитировать мне Платона!

Андершафт. Платон говорит, мой друг, что общество нельзя спасти до тех пор, пока преподаватели греческого не начнут фабриковать порох или пока фабриканты по­роха не начнут преподавать греческий.

Казенс. О искуситель, лукавый искуситель!

Андершафт. Выбирайте же, мой милый, выбирайте.

Казенс. Может быть, Барбара не пойдет за меня, если я оши­бусь в выборе.

Барбара. Может быть.

Казенс (в отчаянии). Вы слышите?

Барбара. Отец, неужели вы никого не любите?

Андершафт. Люблю моего лучшего друга.

Леди Бритомарт. А кто это, скажи, пожалуйста?

Андершафт. Мой злейший враг. Он не позволяет мне отста­вать.

Казенс. А знаете, ведь это чудовище все-таки поэт в своем роде. Как знать, может быть, он великий человек.

Андершафт. Может быть, вы перестанете болтать и при­мете наконец решение, молодой человек?

Казенс. Но вы заставляете меня идти против собственной природы. Я ненавижу войну.

Андершафт. Ненависть — это месть труса за то, что его запугивают. Посмеете ли вы объявить войну войне? Вот и средства: мой друг, мистер Ломэкс, сидит на них.

Ломэкс (вскакивает). Ну, знаете ли! Вы ведь не хотите ска­зать, что эта штука заряжена? Сокровище мое, отойди подальше!

Сара (все так же спокойно сидит на снаряде). Если уж мне суждено взорваться, то чем больше грохота, тем лучше. Не суетитесь, Чолли.

Ломэкс (Андершафту, тоном строгого замечания). Ваша родная дочь, знаете ли!

Андершафт. Я и сам так думаю. (Казенсу.) Ну, мой друг, разрешите нам ждать вас завтра к шести часам утра?

Казенс (твердо). Ни в коем случае. Я скорее соглашусь, чтоб весь завод взорвался от собственного динамита, чем встану в пять часов утра. Мое время — самое здоро­вое и нормальное: с одиннадцати до пяти.

Андершафт. Приходите когда хотите; через неделю вы начнете вставать к шести и сидеть до тех пор, пока я вас не выгоню, беспокоясь о вашем здоровье. (Зовет.) Бол­тон! (Обращаясь к леди Бритомарт, которая встает.) Милая, оставим этих молодых людей вдвоем на ми­нутку.

Билтон выходит на крыльцо. Я хочу провести вас через цех пироксилина.

Билтон (загораживает дорогу). Сюда нельзя входить со взрывчатыми веществами, сэр.

Леди Бритомарт. Что вы хотите сказать? Намекаете на меня?

Билтон (невозмутимо). Нет, мэм. У мистера Андершафта в кармане лежат спички другого джентльмена.

Леди Бритомарт (резко). О, извините! (Входит в дверь.)

Андершафт. Совершенно верно, Билтон, совершенно вер­но. Вот, пожалуйста. (Отдает Билтону коробок со спич­ками.) Идем, Стивен. Идем, Чарлз. Ведите Сару. (Про­ходит в дверь.)

Билтон демонстративно высыпает спички в пожарное ведро.

Ломэкс. Ну, знаете ли!

Билтон невозмутимо подает ему пустой коробок.

Абсолютная чепуха! Поразительное научное невежество. (Уходит за Андершафтом.)

Сара. А против меня вы ничего не имеете, Билтон?

Билтон. Вам только нужно надеть туфли, мисс, вот и все. Они у нас там, внутри. (Входит в сарай.)

Стивен (очень серьезно, Казенсу). Подумайте, дружите Дол­ли. Подумайте, прежде чем решиться. Чувствуете ли вы себя достаточно практичным? Предприятие гигантское, ответственность огромная. Для вас вся эта масса дел бу­дет просто китайской грамотой.

Казенс. Надеюсь, это будет много легче греческого.

Стивен. Вот и все, что я должен был сказать, прежде чем предоставить вас самому себе. Пусть при важном жиз­ненном шаге на вас не влияет то, что я говорил о дурном и хорошем. Я удостоверился, что предприятие это носит высокоморальный характер и делает честь моей стране. (С чувством.) Я горжусь отцом... Я... (Не в силах про­должать, пожимает Казенсу руку и торопливо уходит в сарай, сопровождаемый Билтоном.)

Барбара и Казенс, оставшись одни, молча смотрят друг на друга.

Казенс. Барбара, я решил принять это предложение.

Барбара. Я так и думала.

Казенс. Вы понимаете, не правда ли, что я должен был ре­шать, не советуясь с вами. Если б я взвалил всю тяжесть выбора на вас, вы рано или поздно стали бы меня прези­рать за это.

Барбара. Да, я не хотела бы, чтоб вы продали свою душу столько же ради меня, сколько ради этого наследства.

Казенс. Не продажа души меня смущает: я продавал ее слишком часто, чтоб из-за этого беспокоиться. Я прода­вал ее за профессорскую должность. Продавал ее за определенный доход. Продавал, когда, боясь сесть в тюрьму как злостный неплательщик, вносил налоги на веревки для палачей, и на несправедливые войны, и на все то, что я ненавижу. Что такое все поведение человека, как не ежедневная и ежечасная продажа души в розницу? Теперь я продаю ее не за деньги, не за положение-; не за комфорт, а за власть и реальную силу.

Барбара. Вы знаете, что власти у вас не будет, у него само­го тоже нет власти.

Казенс. Знаю, я не о себе хлопочу. Я хочу власти для всего мира.

Барбара. Я тоже хочу власти для всего мира, но это должна быть власть духа.

Казенс. Я думаю, что всякая власть есть власть духа: эти пушки сами собой стрелять не станут. Я пытался добить­ся власти духа, обучая греческим вокабулам. Но мир не расшевелишь мертвым языком и мертвой цивилизацией. Людям нужна власть и не нужны вокабулы. А той властью, которая идет отсюда, может вооружиться каждый.

Барбара. Власть поджигать дома, где остались одни жен­щины, власть убивать их сыновей и взрывать на воздух мужей?

Казенс. Вы не властны творить добро, если не творите зла. Даже материнское молоко вскармливает злодеев наравне с героями. Той силой, которая взрывает людей на воздух, никогда так не злоупотребляли, как силой духа, во­ображения, поэтической и религиозной силой, которая порабощает душу человека. Как преподаватель греческо­го я давал интеллигенту оружие для борьбы с народом. Теперь я хочу дать народу оружие для борьбы с интелли­генцией. Я люблю народ. Я хочу вооружить его для борьбы с адвокатами, врачами, священниками, литерато­рами, профессорами, художниками, политическими дея­телями, которые, став у власти, проявляют больше дес­потизма и разрушительных наклонностей, чем сумасшед­шие, негодяи и самозванцы. Я хочу власти достаточно доступной, чтобы ею могли овладеть люди из народа достаточно сильной, чтобы принудить умственную оли­гархию отдать свои таланты на общую пользу.

Барбара (указывая на снаряд). Разве нет власти выше этой?

Казенс. Есть, но эта власть может уничтожить высшую, как тигр может уничтожить человека; поэтому человек дол­жен захватить сначала вот эту власть. Я понял это во время последней войны Турции с Грецией. Мой лю­бимый ученик уехал сражаться за Элладу. Моим про­щальным даром ему был не экземпляр «Республики» Платона, а револьвер и сотня андершафтовских патро­нов. Кровь каждого турка, которого он убил,— если он вообще кого-нибудь убил,— падет на мою голову так же, как и на голову Андершафта. Этот поступок пред­определил мою судьбу. Вызов вашего отца довершил де­ло. Посмею ли я объявить войну войне? Посмею. Дол­жен объявить. И объявлю. А теперь — все между нами кончено?

Барбара (тронутая тем, что он явно боится ее ответа). Глупый мальчик. Долли! Разве это возможно?

Казенс (вне себя от радости). Значит, вы... вы... вы... О, где мой барабан? (Размахивает воображаемыми палочками.)

Барбара (сердясь на его легкомыслие). Берегитесь, Долли, бе­регитесь! О, если б можно было уйти от вас, от отца и от всего этого! Если б мне крылья голубки, я улетела бы на небеса!

Казенс. И оставили бы меня?

Барбара. Да, вас и всех других своевольных и непослушных детей человеческих. Но я не могу. Я была счастлива в Армии спасения один короткий миг. Я ушла от мира в рай энтузиазма, в экстаз молитвы и спасения душ, но как только у нас вышли деньги, все свелось к Боджеру: это он спасет наших людей, он и Князь тьмы — мой папа. Андершафт и Боджер — их рука достает везде: когда мы кормим голодного, то кормим их хлебом, потому что другого хлеба нет; когда мы лечим больного, то лечим в больницах, которые учреждены ими; если мы отворачиваемся от церквей, которые построены ими, то лишь для того, чтобы преклонить колени на улице, которая вымо­щена ими же. До тех пор, пока это будет продолжаться, от них никуда не уйдешь. Игнорировать Боджера и Андершафта — значит игнорировать жизнь.

Казенс. Я думал, что вы решили игнорировать оборотную сторону жизни.

Барбара. Оборотной стороны нет — жизнь едина. Я готова вынести все дурное, что выпадет мне на долю, будь это грех или страдание. Я желала бы, чтобы вы избавились от мещанского образа мыслей, Долли.

Казенс (ахает). От мещанского... Выговор! Выговор мне! От дочери подкидыша!

Барбара. Вот почему я не принадлежу ни к какому классу, Долли: я вышла прямо из сердца народа. Если б я была мещанкой, я повернулась бы спиной к отцу и его профес­сии и мы с вами зажили бы в какой-нибудь студии, где вы читали бы журналы в одном углу, а я играла бы Шу­мана в другом; оба в высшей степени утонченные и со­вершенно бесполезные люди. Я скорее предпочла бы ме­сти это крыльцо или служить кельнершей у Боджера. Знаете, что случилось бы, если бы вы не приняли предло­жения папы?

Казенс. Хотел бы знать! .

Барбара. Я бы вас бросила и вышла замуж за того, кто принял бы это предложение. В конце концов, у моей ма­тери больше здравого смысла, чем у всех вас, вместе взятых. Я почувствовала то же, что и она, когда увидела этот город: он должен быть моим, я не буду в силах с ним расстаться никогда, никогда; только ее здесь ув­лекли дома, кухни, скатерти и посуда, а меня — человече­ские души, которые нуждаются в спасении; не слабые ду­ши в истощенных телах, проливающие слезы благодар­ности за кусок хлеба с патокой, а сытые, задиристые, чванные люди, которые умеют постоять за свое достоин­ство и за свои маленькие права и думают, что мой отец им обязан тем, что они нажили ему столько денег,— впрочем, так оно и есть. Вот где действительно нуждают­ся в спасении. Отец уже никогда не бросит мне упрека, что мои обращенные подкуплены куском хлеба. (Преобра­жается.) Я отказываюсь от подкупа хлебом. И от под­купа блаженством на небесах. Пусть божье дело творится бескорыстно, для него бог и создал нас, ибо это есть де­ло живых. Когда я умру, пусть он будет в долгу у меня, а не я у него, и я прощу его, как подобает женщине мое­го круга.

Казенс. Так, значит, дорога жизни идет через фабрику смерти?

Барбара. Да, да. Поднять ад до неба, а человека до бога, открыв источник вечного света в юдоли мрака. (Хва­тает его за руки.) Неужели вы подумали, что бодрость никогда не вернется ко мне? Поверили, что я могу быть дезертиром?.. Что я, которая вышла на перекресток, чтобы открыть свое сердце народу, и говорила с ним о самом святом и о самом важном, — что я могу вернуть­ся назад и вести светский разговор о пустяках в гости­ной? Никогда, никогда, никогда! Майор Барбара умрет сражаясь. И мой мальчик Долли со мной, и он нашел для меня настоящее место и работу. Слава тебе, боже, аллилуйя, слава тебе! (Целует Казенса.)

Казенс. Любимая, не забудь, что у меня хрупкое здоровье. Я не могу вынести столько счастья, сколько можешь ты.

Барбара. Да, нелегко любить меня, не правда ли? Но это тебе полезно. (Бежит к крыльцу и зовет, как ребенок.) Мама! Мама!

Выходит Билтон, за ним Андершафт.

Мне нужна мама.

Андершафт. Она снимает туфли. (Подходит к Казенсу.) Ну, что она сказала?

Казенс. Она воспарила на небеса.

Леди Бритомарт выходит из сарая и останавли­вается на лестнице, преграждая дорогу Саре и Ло- мэксу. Барбара по-детски цепляется за юбку матери.

Леди Бритомарт. Барбара, когда же ты приучишься к самостоятельности и будешь думать сама за себя? Мне прекрасно известно, что значит это «мама, мама!». За всем бежит ко мне!

Сара (щекочет мать и подражает велосипедному рожку). Ту-ту-ту!

Леди Бритомарт (приходит в негодование). Как ты смеешь говорить мне «ту-ту-ту», Сара? Обе вы дрянные девчонки! Что тебе, Барбара?

Барбара. Я хочу домик в поселке, чтобы жить там вместе с Долли. (Тянет за юбку.) Подите скажите, какой лучше взять.

Андершафт (Казенсу). Завтра в шесть утра, Еврипид.

КОММЕНТАРИИ

Написана в 1905 г.

Темой «Майора Барбары» стали Армия спасения и преступность нищеты. Продолжая пересмотр своих прежних идейных позиций, Шоу на новой основе возвращается здесь к проблематике «неприятных пьес». Драматург еще раз подчеркивает, что торговля людьми, в лю­бом смысле этого понятия, является основой буржуазного мира. Цент­ром пьесы Шоу делает Эндру Андершафта, могущественного пушеч­ного короля, изворотливого и ловкого. Безграничны возможности и власть Андершафта, он вездесущ, в его руках находятся практически парламент, финансы, внутренняя и внешняя политика. Андершафт отлично знает цену и своему правительству, и парламентской «гово­рильне», и политиканам-дилетантам. Знает он цену и буржуазной благотворительности, когда, по иронии судьбы, ему приходится жерт­вовать, «во имя спасения своей души», крупные суммы в фонд Армии спасения. Филантропия и Андершафт! Странное на первый взгляд сочетание оказывается не таким уж странным при ближайшем рас- смотрении: Барбара, дочь Андершафта и его идейный антагонист, постепенно понимает, что воле отца подчиняются не только полити­ки, но и моралисты, проповедующие гуманность и человеколюбие. Укрощая «злобу и горечь против богачей в сердцах бедняков», тем самым укрепляют позиции Андершафта и его единомышленников.

Барбара переживает трагедию «узнавания», в ее внутреннем мире происходит переворот, жизнь разрушает все ее иллюзии и заставляет постичь свою причастность к преступлениям Андершафта. Но «парадоксальный» Шоу и здесь остается верен себе: начав с разрыва с отцом, Барбара кончает примирением с ним. Свою благотворительную деятельность она возобновляет на фабрике Андершафта, так как на великолепно организованном предприятии отца имеются все условия для «спасения душ». Барбара проходит разные стадии познания окрукающего ее мира: от наивной веры в справедливость дела, которому она посвящает себя, к разочарованию, а от него — к драматическому прозрению и... мирному возвращению на «круги своя», на фабрику Андершафта.

Филантропы из Армии спасения предстают в пьесе со всеми атрибутами их человеколюбивой деятельности: барабанами, тромбонами, гимнами, бесплатными похлебками. Армию спасения Шоу, можно сказать, писал почти с натуры: когда он выступал с речами в Ист-Энде и на перекрестках улиц, ему нередко приходилось, как отмечают его друзья и биографы, делить лучшие места с Армией спасения; Шоу подмечал особенности характера членов «филантропи­ческой армии», драматическую одаренность некоторых девушек, распе­вавших о муках «спасенных» женщин, живущих с мужьями-тиранами, и о безмерном счастье, которое овладело ими, «когда вместо ожидае­мой взбучки они вдруг видели на преображенном челе супруга отсвет божественной благодати»[4]. Рядом с членами Армии спасения Шoy ставит «спасаемых» — безработных и нищих, тех, кого нужда ваставила прибегнуть к помощи филантропов, подчиниться воле Андершафтов и Боджеров.

Заканчивая работу над пьесой, Шоу нередко писал письма актерам, будущим исполнителям ролей в «Майоре Барбаре», и в частности Луи Калверту, которому предстояло сыграть Эндру Андершафта: «Моя работа над новой пьесой продвигается шаг за шагом. Роль миллионера, владельца пушечного завода, становится все более внуши­тельной. Получится вот что: смесь из Бродбента и Кигана, приправлен­ная Мефистофелем! «Бизнес есть бизнес» покажется дешевой мелодрамой по сравнению с этой пьесой, а Ирвинг и Три поблекнут и будут выглядеть третьестепенными актерами, когда Калверт выйдет на сцену в роли Эндру Андершафта. Это будет просто грандиозно!.. [Роль] очень большая, монологов в ней — дюжины, и они намного длиннее кигановских; их исполнение требует разнообразных оттенков. Андершафт чертовски хитер, вежлив, выдержан, силен, важен, вместе с тем забавен и интересен. Из его отходов можно было бы выкроить по крайней мере десяток Гамлетов и полдюжины Отелло...»[5]

В лице Андершафта Шоу изобразил типичного представителя английской буржуазии, которую цивилизованный мир заклеймил «эпи­граммой, пришпиленной к этому классу, что он угодлив по отноше­нию к стоящим выше и деспотичен к стоящим ниже».[6] Эту мораль Bboero класса Андершафт старается привить рабочим. Шоу показывает цинизм капиталиста Андершафта, девизом которого являются сло­ва «Без стыда». «В моей морали, в моей религии, — заявляет он, — должно быть место пушкам и торпедам».

Своих положительных героев Шоу сделал слабее Андершафта. Как положительный образ задумана Барбара: она полна гуманности и сочувствия к простым людям. Однако, воспитанная в духе религиозной морали, она оказывается бессильной и не может найти действенных средств для облегчения положения страдающих и обездоленных. Как убедительно показывает Шоу, путь буржуазной филантро­пии не приводит ни к чему. Кто же раскроет Барбаре и Казенсу глаза на тщетность их попыток и бесплодность избранных ими средств? И снова парадокс: Казенс и Барбара приходят к пониманию своих задач благодаря Андершафту - откровенному проповедник того, что в мире все можно сделать, пользуясь силой. «Научитесь говорить: «Так будет» вместо: «Так должно быть». «Идите делать со мною взрывчатые вещества, — призывает Андершафт Барбару и Казенса, — Тот, кто умеет взрывать на воздух людей, сумеет взорвать на воздух и общество. История мира есть история тех, у кого было достаточно храбрости, чтобы не убояться этой истины». Парадоксаль­но то, что у Шоу эти слова произносит капиталист Андершафт. Впрочем, слова Андершафта, несомненно, имеют и другой смысл: если буржуазия утверждает свое господство посредством силы, то почему бы не применить тот же самый метод для свержения ее. Получается, что сам капиталист учит, как нужно бороться против него, и фантазии драматурга было угодно представить ситуацию, в ко­торой капиталист высказывает революционные мысли. Это парадокс типичный для Шоу. Как бы то ни было, но Шоу в «Майоре Бар­баре» приходит к мысли о необходимости переустройства общества на новых основаниях. Это было теснейшим образом связано с тем, что уже до первой мировой войны Шоу утрачивает веру в буржу­азный парламентаризм, отсюда и его убийственная характеристика английского парламента, данная в пьесе: «Попробуй выпустить шестьсот семьдесят полоумных на улицу, и три полисмена смогут ра­зогнать их. Но посади их в одно из зданий Вестминстера, позволь им проделать разные церемонии и надавать себе разных званий, они соберутся с духом и начнут убивать; тогда эти шестьсот семьдесят полоумных станут правительством».

Шоу, несомненно, уплатил дань фабианству, представив в ка­честве наиболее положительного героя буржуазного интеллигента Казенса. И уж конечно, совсем неправдоподобно, чтобы капиталист сде­лал своим наследником человека, который, как он знает, собирается использовать полученное им богатство для борьбы против капитализ­ма. Но Шоу меньше всего заботился здесь о правдоподобии. Он считал, что чем парадоксальнее ситуации, тем скорее привлекут к себе читателя и зрителя мысли, утверждаемые им в пьесе.

При всех противоречиях, сказавшихся в пьесе «Майор Барбара», которую нередко называют «драмой неразрешенных вопросов», именно здесь Шоу-борец, Шоу-ниспровергатель оказался сильнее Шоу-фа­бианца.

Пьеса опубликована в 1907 г. Первоначальное название — «Про­фессия Эндру Ашдершафта». Впервые поставлена в Лондоне антрепри­зой Ведрена и Гренвилл-Баркера (режиссер — Харли Гренвилл-Баркер) в театре «Ройал Корт» 28 ноября 1905 г. Пьеса прошла шесть на утренниках. Биограф Шоу Хескет Пирсон отмечал, что в день премьеры «одна из лож была заполнена одетыми в форму членами Армии спасения, которые до того не переступали порога театра». «Первые два акта — по свидетельству того же Пирсона — принимались под бешеные аплодисменты, и во втором антракте собрат Шоу по перу драматург Альфред Сетро, встретив его в фойе, поздравил шедевром.

— Если последний акт так же хорош, как первые... — продолжал Сетро.

— Последний акт длится час, и там одни разговоры, — прервал его Шоу, — ничего, кроме разговоров.

У Сетро вытянулось лицо.

— Да не волнуйтесь же, — добавил Шоу, ободряюще похлопы его по плечу. — Вот увидите, и не такое съедят!

Но, проглотив, публика не смогла переварить стряпню Шоу и, покидая театр, задавалась вопросом, искупает ли мелодрама во втором акте чудовищное глубокомыслие и длину последнего действия. По свидетельству Шоу, «в последнем акте публика потому выходила из себя, что Андершафт недостаточно овладел ролью, чтобы заинтересо­вать зрителей». Все же, как говорил Чарлз Фромэн, «Шоу умница: его герой непременно получает в конце свою девушку».[7]

Впоследствии «Майора Барбару» ставили в Лондоне в театрах , «Корг» (1906), «Эвримен» (1921, 1923), «Уиндэмз» (1929, в роли Бар- Шары — Сибил Торндайк), «Олд Вик» (1935), «Вестминстер» (1939), «Артс» (1948), «Бедфорд» (1949).

Фильм «Майор Барбара» был поставлен режиссером Габриэлем Шаскалем на киностудии «Дэнем» в 1940 — 1941 гг. Среди исполните­лей ролей: Венди Хилер (Барбара). Рекс Харисон (Казенс), Сибил Торндайк (миссис Бейнс).

Пьеса издавалась на русском языке: 1911, под названием «Солдат из Армии спасения»; Собр. соч. Шоу в 9-ти т., т. 6. М. (переводчик не указан); 1934, с подзаголовком «Порох и деньги», русский текст Е. Танка и В. Трахтенберга, Л.—М., Цедрам, 1934.

Комментарии к разделу «Первая помощь критикам»

Шопенгауэр, Артур (1788 — 1860) — немецкий философ-идеалист.

Ницше, Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, популярный в конце XIX — начале XX в. Книга «По ту сторону добра и зла» опубликована в 1886 г.

Ибсен, Генрик (1828 — 1906) — норвежский драматург.

Стриндберг, Юхан Август (1849 — 1912) — шведский писатель, драма- Врг, театральный деятель.

Ливер, Чарлз Джеймс (1806 — 1872) — ирландский писатель. Большинст­ве романов Ливера посвящено жизни военных и аристократов в Дублине. Его первый роман «Исповедь Гарри Лорекера» опубликован в 1837 г.; «Ирландский драгун Чарлз О'Малей» — в 1840-м, «Однодневная поездка: роман жизни» — в 1863-м.

«Домашнее чтение» — литературно-художественный журнал, издавае­мый Диккенсом в 1850 — 1859 гг. В нем, помимо самого Диккенса, печатались такие видные писатели, как Булвер-Литтон, Уилки Колинз, Элизабет Гаскел.

... я видел заглавие в таушницевском каталоге... — Таушниц, Христиан Бернгард фон (1816 — 1895) — основатель издательской фирмы «Бернгард Таушниц», которая особенно известна своим изданием «Собрание сочинений английских авторов» (на английском языке), начатым в 1841 г. Кроме того, фирма издала ряд крупных юридических сочинений, словарей, греческих и римских авторов.

Стендаль (псевдоним Анри Бейля, 1783 —1842) — французский писатель.

Поццо ди-Борго, Карл-Андрей (1764—1842) — русский дипломат, родом с Корсики, где служил адвокатом. Сторонник отделения Корсики от Франции. Вследствие ненависти, которую к нему питали сторонники Бонапарта, должен был покинуть родину. В 1803 г. поступил на русскую службу, был русским посланником в Париже.

Альнашар — персонаж из сказок «Тысяча и одна ночь».

Симон Таппертит — персонаж из романа Диккенса «Барнаби Радж» (1841).

Аристофан (ок. 446 — 385 до н. э.) — древнегреческий драматург, «отец комедии».

Стивенсон, Роберт Льюис (1850—1894) — английский писатель, литера­турный критик, публицист.

Хогарт, Уильям (1697 —1764) — выдающийся английский живописец график и теоретик искусства.

Бедлам — первоначально больница Марии Вифлеемской (Вифлеем — город в Иудее), затем больница для душевнобольных в Лондоне Пистоль — персонаж пьес Шекспира «Генрих IV», «Генрих V» и «Винд­зорские насмешницы».

Пароль — персонаж из пьесы Шекспира «Все хорошо, что хорошо кон­чается».

... Шопенгауэр написал желчное эссе... — Согласно мировоззрению Шопенгауэра, глубоко пессимистичному по своей сути, мужчина несет в себе созидательное начало, женщина — разрушительное. Стр. 29. Нагорная проповедь — проповедь Иисуса Христа о «блаженст­вах», то есть качествах души, в которых выражена сущность ново­заветного закона в отличие от ветхозаветного; проповедь полнейшего духовного смирения и самоуничижения в противоположность эгоизму и самовозношению древности.

Бокль, Генри Томас (1821 — 1862) — английский историк и социолог- позитивист. Главный труд Бокля — двухтомная «История цивилизации в Англии» (1857-1861).

...умные личности производят на свет законченные и оригиналь­ные космогонические теории партеногенетическим путем... — Партено­генез (биол.) — вид полового размножения, при котором половая клет­ка развивается без оплодотворения; естественный партеногенез харак­терен для развития многих беспозвоночных животных, а также некото­рых низших и высших растений.

Комментарии к разделу «Евангелие от св. Эндру Андершафта»

Святой Франциск — Франциск Ассизский (наст, имя Джованни Бернардоне, 1181 или 1182—1226) — религиозный деятель, основатель католического монашеского ордена францисканцев. Проповедовал по­каяние и бедность. В 1228 г. был канонизирован папой римским Григорием IX.

Кантовский императив (категорический императив) — фило­софский термин, обозна­ча­ющий нравственный закон в этике Канта. Лазарь — по евангельской притче, беспомощный бедняк, лежавший у ворот бессердечного богача.

Фруассар, Жан (ок. 1337 —после 1404) — французский хронист и поэт, вошел в историю как историк и певец рыцарства. Стр. 35. Раскин, Джон (1819—1900) — английский писатель, критик и художник. Считал возможным преодоление уродств буржуазного об­щества путем художественного и нравственного воспитания человека в духе «религии красоты».

Моррис, Уильям (1834 —1896) — английский писатель, художник и об­щественный деятель. Критиковал капиталистическое общество за его враждебный искусству и творчеству характер; принимал активное участие в английском социалистическом движении конца XIX в.

Кропоткин, Петр Алексеевич (1842 — 1921) — русский революционер, пуб­лицист, социолог, историк.

«Илластрейтед Лондон Ньюс» — ежемесячный иллюстрирован­ный журнал консервативного направления; печатает материалы о теку­щих внутренних и международных событиях, статьи по археологии, искусству, этнографии, социологии. Основан в 1842 г., сушествуе! по сегодняшний день.

...и келмзкотовским изданием Чосера... — Келмзкот («Келмзкот пресс») — частная типография. Основана в 1890 г. писателем и худож­ником У. Моррисом с целью возрождения печатного дела как искус­ства; ее издания оказали значительное влияние на английскую полигра­фию того времени. Название типографии — по названию особняка У. Морриса в Лондоне — «Келмзкот-хаус».

«Друри-Лейн» — английский драматический театр; построен в Лондоне в 1663 г. Томасом Килигру. Наряду с классическими и лучшими произведениями современной драматургии, в «Друри-Лейне» ставились также пантомимы и мелодрамы.

...вы... блуждаете в искусственной дарвинистской тюрьме. — Дарвин, Чарлз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения о происхождении видов живот­ных и растений путем естественного отбора.

Армия спасения — реакционная религиозно-филантропическая органи­зация, основанная в Лондоне в 1865 г. методистским священником Уильямом Бутом (1829 — 1912).

Еврипид (ок. 480 — 406 до н. э.) — древнегреческий драматург. Ламанш (Английский канал) — пролив между южным берегом Англии и северным берегом Франции, соединяет Северное море с Атланти­ческим океаном.

Батлер, Сэмюэл (1835— 1902) — английский писатель. Известность имя Батлера получило после смерти писателя, когда был опубликован его реалистический роман «Путь всякой плоти» (1903), изобличающий фальшь буржуазных семейных отношений, эгоизм и лицемерие бого­боязненного семьянина. Батлер изучал творчество Гомера, переводил на английский язык его произведения; ему также принадлежит гипотеза о том, что «Одиссея» была создана в Сицилии. Видимо; поэтому сицилийцы увековечили память Сэмюэла Батлера, назвав его именем одну из улиц. Автором трагикомической поэмы «Гудибрас» является английский поэт-сатирик ХУП века Сэмюэл Батлер (1612 — 1680). Лаодикианизм — равнодушие к вопросам религии и политики. Термин возник от названия древнеримского города Лаодикии (в Большой Фригии), жители которого славились безразличием к событиям внеш­него мира.

Мюссе, Альфред де (1810—1857) — французский писатель и поэт.

Санд, Жорж (псевдоним Авроры Дюпен, в замужестве Дюдеван; 1804 — 1876) — французская писательница.

Комментарии к разделу «Армия спасения»

Лодж, Оливер (1851 — 1940) — английский физик. После 1910 г. занимал­ся исследованиями в области психики; автор ряда работ в этой области.

Койт, Стэнтон (1857 —1944) — американский публицист; занимался в основном вопросами этики. В течение многих лет жил и работал в Лондоне, где возглавил первое Британское этическое общество. Издавал международный журнал по вопросам этики, способствовал организации и развитию английских этических обществ. Стэд, Уильям Томас (1849— 1912) — английский журналист; вначале сотрудник, затем редактор «Пэл-Мэл Газет», на страницах которой часто выступал по вопросам общественных и политических движений; основатель ежемесячника «Обзор обзоров». Занимался также исследо­ваниями в области психики.

Вестминстерское аббатство (собор св. Петра в Лондоне) — место коронования английских королей, а также погребения королей, государственных деятелей и выдающихся людей Англии.

...обнаружит на другом конце профессию миссис Уоррен. — Имеется в виду профессия героини пьесы Шоу «Профессия миссис Уоррен» (1893 — 1894), содержательницы публичных домов. Худ, Томас (1799 — 1845) — английский литератор. В редактируемых им периодических изданиях публиковал и собственные произведения преимущественно юмористические. Среди серьезных произведений Т. Худа поэма «Песнь о рубашке» (1843), в которой рассказывается о тяжелой жизни швеи.

Комментарии к разделу «Недостатки армии спасения»

Генерал Бут — Уильям Бут (1829 — 1912), методистский священник, основатель Армии Спасения.

Вольтер (псевдоним Мари Франсуа Аруэ, 1694— 1778) — французски» писатель, философ, историк.

Руссо, Жан-Жак (1712 — 1778) — французский писатель, философ, компо­зитор.

Энциклопедисты — французские просветители, участвовавшие в созда­нии «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», 35 томов которой вышло во Франции в 1751 — 1780 гг. Главным редактором и наиболее плодовитым автором «Энциклопедии» был Дидро. Почти все крупные представители просветительской мысли Франции были привлечены к участию в «Энциклопедии»: Вольтер, Гольбах, Гельвеций, Руссо и др. Вынужденные в условиях цензурного гнета прибегать к маскировке своих взглядов, энциклопедисты все же сумели с достаточной ясностью выразить свое отрицательное отно­шение к феодально-абсолютистскому обществу и господствующей в нем идеологии. «Энциклопедия» сыграла огромную роль в идеоло­гической борьбе против феодализма, абсолютизма и клерикализма, в идейной подготовке Великой французской революции. «Общественный договор» — имеется в виду трактат Руссо «Об общест­венном договоре» (1762), в котором выражены принципы народного суверенитета, исконное право народа свергать тиранические режимы, разработана структура демократической республики, основанная на всеобщем равенстве.

...ревностные филантропы попустительствовали сентябрьским убийст­вам. — Имеются в виду события третьего этапа Великой французской революции (2 июня 1793—27/28 июля 1794), когда войска интервентов вторгались во Францию с севера, востока и юга и контрреволю­ционные мятежи охватили весь северо-запад страны. Выступление пле­бейских масс Парижа 4 — 5 сентября 1793 г. заставило Конвент в ответ на террористические акты контрреволюции (убийство Марата, вождя лионских якобинцев Ж. Шалье и др.) поставить революционный террор в порядок дня, расширив политику репрессий против врагов революции и против спекулянтских элементов.

Утилитаристы — сторонники буржуазной этической теории, утвержда­ющей, что полезность поступка является критерием его нравствен­ности. Эта теория получила широкое распространение в Англии XIX в. и отразила умонастроения некоторых слоев английской либеральной буржуазии.

Христианские социалисты — сторонники христианского социализма, на­правления общественной мысли, стремящегося придать христианском религии социалистическую окраску и противостоящего научному со­циализму и рабочему революционному движению.

Фабианцы — члены английского «Фабианского общества», реформистской социалис­тичес­кой организации (названа по имени римского государственного деятеля Фабия Максима, или Кунктатора (Медлителя - созданной в 1884 г. Лидерами фабианцев были Б. Шоу, С. и Б. Уэоо. Используя в известной мере идеи Маркса, фабианцы в основном опирались на Дж. С. Милля и С. Джевонса, сторонников эволюцион­ного реформистского пути установления социализма.

Бентам, Иеремия (1748 —1832) — английский социолог, юрист, родо­начальник одного из направлений английской философии — утилита­ризма. В основе этики Бентама лежит «принцип пользы», согласно которому действия людей, их отношения должны получать моральную оценку по приносимой ими пользе.

Милль, Джон Стюарт (1806 — 1873) — английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель. В 1865 — 1868 гг. член палаты общин, где поддерживал либеральные и демократические реформы. Осуждая пороки капиталистического строя, Милль стоял на позициях буржуазного реформизма.

Карлейль, Томас (1795 — 1881) — английский писатель, публицист, исто­рик, философ. Карлейль утверждал, что историю создают не массы, а отдельные великие люди. За аристократическим, романтическим культом героев скрывался, по выражению Маркса и Энгельса, «апо­феоз буржуа как личности».

Джордж, Генри (1839—1897) — американский экономист, публицист, буржуазный радикал, распространявший среди рабочих буржуазно- реформистские взгляды.

Синклер, Эптон (1878 — 1968) — американский писатель. Имеется в виду роман Э. Синклера «Джунгли», печатавшийся в конце 1905 г. в социа­листическом еженедельнике «Призыв к разуму»; в нем показаны ужасы рабского труда на скотобойнях Чикаго.

Мор, Томас (1478 —1535) — английский историк-гуманист, пи­сатель, общественный деятель. В 1529 г. достиг высшего в тюдоров­ской Англии поста — стал лордом-канцлером Англии. Разногласия с королем Генрихом VIII по вопросам церковной политики привели к отставке Мора в 1532 г. Три года спустя он был заключен в Тауэр и обезглавлен. Самое значительное в литературном наследии Мора — «Золотая книжечка о наилучшем устройстве государства, или О новом острове Утопия» (1516).

Монтень, Мишель де (1533 — 1592) — французский философ и писатель. Мольер (псевдоним Жана Батиста Поклена, 1622 — 1673) — французский драматург, актер, театральный деятель.

Бомарше, Пьер Огюстен Карон де (1732 —1799) — французский дра­матург.

Свифт, Джонатан (1667—1745) — английский писатель-сатирик.

Гете, Иоганн Вольфганг (1749 —1832) — немецкий поэт и мыслитель.

Христианин подобен диккенсовскому врачу в долговой тюрьме. — Имеет­ся в виду персонаж романа Диккенса «Крошка Доррит» (1855 — 1857), доктор, заключенный в долговую тюрьму Маршалси.

Св. Уильям Бут — Уильям Бут (1829 — 1912), основатель Армии Спасения (Шоу именует его святым иронически).

Моисей — согласно библейскому преданию, предводитель израиль­ских племен (XIII в. до н. э.), призванный богом Яхве спасти израильские племена от рабства фараона. Моисею приписывается Пятикнижие, или Тора (в действительности она относится к более позднему времени, к IX —VII вв. до н. э.). Книга Бытия — первая книга Пятикнижия.

Иефай — один из известнейших израильских судей. Согласно Книге Судей, он был провозглашен вождем в борьбе с аммонитянами, встал во главе собравшегося ополчения и наголову разбил врага. С этой победой связывается рассказ о данной им перед походом клятве, жертвою которой стала его единственная дочь, — он должен был предать ее сожжению.

Дагон — языческое божество, почитаемое то как первый законодатель и носитель культуры, то как герой. Особенным почитанием Дагон пользовался у филистимлян и финикийцев.

Хамос — национальное божество моавитян и аммонитян, почитаемое как божество солнца.

...Подобно фридриховскому гренадеру... — Имеются в виду гренадерские полки Фридриха Вильгельма III (1770—1840), прусского короля в 1797-1840 гг.

Гюго, Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель. Речь идет о романе Гюго «Отверженные» (1862). Стр. 48. Капитан Кидд — имеется в виду Уильям Кидд (1645 — 1701), британский пират, живший в Америке. Посланный для борьбы с фран­цузскими пиратами в Вест-Индии, Уильям Кидд сам был арестован за пиратство и казнен.

Олд Бейли — центральный уголовный суд в Лондоне.

Когда американцы отказались остановиться в гостинице одновременно с русским гением, который женился вторично без санкции Южной Дакоты. — Имеется в виду поездка в Америку в 1906 г. А. М. Горького и М. Ф. Андреевой. За участие в московском Декабрьском вооруженном восстании Горькому угрожали репрессии. Партия решила направить его в заграничную поездку. В своих выступ­лениях в Америке Горький рассказывал правду о ходе русской рево­люции, призывал помогать ей. Американская пресса начала травлю Горького, добиваясь, чтобы он покинул США. Желая помешать ре­волюционным выступлениям писателя, буржуазная пресса возмутилась тем, что он приехал в Америку со своей невенчанной женой. В письме к JI. Б. Красину Горький так сообщал о своем приезде в Америку: «Встретили меня здесь очень торжественно и шумно. Газета «Уорлд» поместила статью, в коей доказывала, что я, во-первых, — двоеженец, во-вторых, — анархист... Все шарахнулись в сторону от меня. Из трех отелей выгнали... В газетах начали говорить о необходимости выслать меня из Америки» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1949-1955. Т. 28, с. 416-419).

Тетцель, Иоганн (ок. 1465 — 1519) — доминиканский монах, эмиссар ар­хиепископа Альбрехта Майнцского по продаже индульгенций (с 1516 г.). Его циничные проповеди в Ютербоге (Средняя Германия) послужили непосредственным поводом для выступления Мартина Лютера с 95 те­зисами против индульгенций (1517).

Комментарии к разделу «Христианство и анархизм»

Ирод I Великий (ок. 73 — 4 до н. э.) — царь Иудеи с 40 г. до н. э.. отличался жестоким подавлением народных движений. Мнительный и властолюбивый, он беспощадно уничтожал всех, в ком видел сопер­ников, в том числе членов своей семьи. В христианской мифологии ему приписывается повеление уничтожить всех младенцев при известии о рождении Христа («избиение младенцев»). Все это сделало имя Ирода I нарицательным для обозначения злодея.

...эпизод, о котором... он читал всегда с глубочайшим удовлетворе­нием... — 5 октября 1795 г. (13 вандемьера) Наполеон впервые приме­нил артиллерию на улицах Парижа, разгромил роялистских мятежни­ков, восставших против термидорианского Конвента.

Бобриков, Николай Иванович (1839—1904) — генерал-адъютант и государственный деятель, с 1898 г. — финляндский генерал-губерна­тор. Известен своими жестокостями в Финляндии, которую он стремился русифицировать. 3 июня 1904 г. был убит финским террористом Евгением Шауманом.

Плеве, Вячеслав Константинович (1846 —1904) — русский государствен­ный деятель, с 1899 г. — министр, статс-секретарь по делам Финляндии. В апреле 1902 г. назначен министром внутренних дел и шефом жан­дармов; проводил крайне реакционную политику, широко применял репрессии. Убит эсером Е. С. Созоновым летом 1904 г.

...великого князя Сергея... — Сергей Александрович Романов (1857 — 1905) — русский великий князь, четвертый сын императора Александ­ра II; с 1891 г. — московский генерал-губернатор, одновременно с 1896 г. — командующий войсками московского военного округа. Ока­зывал большое влияние на Николая II в вопросах внутренней политики и пользовался его расположением. Деятельность Сергея Александро­вича в Москве была ознаменована кровавой катастрофой во время коронационных торжеств 1896 г. (Ходынка), массовыми арестами ре­волюционеров, гонениями на легальные общественные организации и печать, высылкой евреев и т. п. Убийство великого князя Сергея Александровича было наиболее громким террористическим актом, предпринятым боевой организацией эсеров в ответ на Кровавое воскре­сенье. Осуществить приговор поручили члену боевой организации Ивану Каляеву. 4 февраля великий князь был убит в Кремле взрывом бомбы, брошенной Каляевым в его карету. Чудом оставшийся в живых, революционер был приговорен к смертной казни и повешен. Равальяк, Франсуа (1578 — 1610) — католик-фанатик, убийца Генриха IV, короля Франции. Когда разнесся слух, что Генрих IV выступает в поход против папы, чтобы низложить его, Равальяк решил, что убий­ство короля будет жертвой, угодной богу и католической церкви. По приговору парламента Равальяк был подвергнут пытке и казнен на Гревской площади.

Дамиен, Роберт Франсуа (1715 — 1757) — политический фанатик; неудач­но покушался на жизнь короля Людовика XV, за что был предан варварской казни на Гревской площади.

Комментарии к разделу «Здравые выводы»

Магомет (Мухаммед, ок. 570 —632) — религиозный пропо­ведник и политический деятель, основатель ислама. ...ирландские католические организации (католические ложи Ленты) — тайное католическое общество, созданное на севере и северо-западе Ирландии в начале XIX в. с целью сопротивления протестантскому влиянию; знак общества — зеленая лента.

...научился обращаться любой русский гренадер в Маньчжу­рии. — Вероятно, имеются в виду события русско-японской войны 1904 — 1905 гг., главные бои которой развернулись в Маньчжурии.

Каин — согласно библейскому мифу, старший сын Адама и Евы, земледелец. Убил из зависти брата, «пастыря овец» Авеля, за то, что дары его были приняты богом Яхве, отвергшим дары Каина. Проклят за братоубийство богом и отмечен особым знаком («Каинова печать»).

Мюррей, Джордж Гилберт Эме (1866— 1957) - английский ученый, переводчик. В 1908 — 1936 гг. профессор кафедры греческого языка в Оксфорде. Известен переводами греческих драматургов и трудами по греческой литературе.

Комментарии к первому действию

Уилтон-креснт — фешенебельный пригород Лондона.

Харроу — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ Англии; учащиеся — преимущественно дети аристократов, крупных бизнесменов, чиновников и т. п.- плата за обучение очень высокая: находится в пригороде Лондона, основана в 1571 г. (более семисот учащихся).

Кембридж (Кембриджский университет) — один из крупнейших и ста­рейших в стране; имеет в своем составе восемнадцать мужских, пять женских и шесть смешанных самоуправляющихся колледжей, плата за обучение высокая, основан в начале XIII в. (одиннадцать тысяч студентов).

Ты был в Индии и Японии. — По окончании университета сыновья состоятельных англичан обычно совершали путешествие за границу, но нередко, вместо того чтобы продолжать там свое образование, предавались развлечениям весьма сомнительного характера, на что и намекает леди Бритомарт в следующей фразе.

...что он родился в Австралии, — Стивен, получивший аристократиче­ское образование и воспитание, относится с презрением к англичанам, родившимся в колониях и доминионах Британской империи. Стр. 66. Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен (1815 — 1898) — германский государственный деятель, князь. С 1862 г. — министр-пре­зидент и министр иностранных дел Пруссии. Осуществил объеди­нение Германии «сверху» на прусско-милитаристской основе. В 1871 — 1890 гг. — рейхсканцлер Германской империи, в которой господствую­щую роль играла Пруссия.

Дизраэли, Бенджамин, граф Биконсфилд (1804— 1881) — английский го­сударственный деятель и писатель, лидер консервативной партии. В 1868 и 1874 — 1880 гг. — премьер-министр; проводил экспансионист­скую внешнюю политику.

Гладстон, Уильям Юарт (1809 —1898) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии. Неоднократно возглавлял анг­лийский кабинет министров.

«Таймс» — ежедневная газета консервативного направления; имеет ши­рокую сеть собственных корреспондентов за рубежом. Тираж ок. 310 тыс. экз., издается в Лондоне, принадлежит газетному концерну «Томсон организейшн», основана в 1785 г.

Лорд-чемберлен — здесь: лорд-камергер, управляющий двором короля.

Яков Первый — английский король (1566—1625), царствовал в 1603-1625 гг.

Антонины — императорская династия, правившая Римом с 96 по 192 г.

Бедфорд-сквер — площадь одного из центральных районов Лондона, находится неподалеку от Британского музея. Хемстед — северо-восточная часть Лондона.

Гомер, говоря об Автолике... — Автолик в греческой мифо­логии — сын бога Гермеса. Гомер характеризует Автолика как хитрого и ловкого вора и разбойника («Одиссея», XIX, 394).

Вестхэмское убежище — район богаделен и благотворитель­ных учреждений в восточной части Лондона.

Майл-Энд — место в Лондоне, где в 1865 г. священник Уильям Бут провел религиозный митинг, положивший начало организации Армии спасения.

...я сам принадлежу к англиканской церкви... — Ломэкс подчеркивает этим, что Армия спасения не является организацией, непосредственно связанной с официальной религией, а скорее принадлежит к одному из многочисленных в Англии типов сектантских организаций.

...«мира на зелие...» — Евангелие от Луки, II, 14 (На земле мир, в человеках благоговение).

«Что одному полезно, то для другого — яд». — Лукреций. «О природе вещей» (кн. IV, I, 638).

Кеннингтаун — восточная часть Лондона, где расположены за­воды, доки, железные дороги. Названа по имени английского государ­ственного деятеля XIX в. Дж. Кеннинга.

«Вперед, о воины Христа» — слова из гимна Армии спасения.

Комментарии ко второму действию

Бронтер О'Брайен Прайс — Прайс был назван по имени одного из вождей чартистского движения Бронтера О'Брайена (1805—1864). ...отец у меня был чартист... — участник чартизма, революционного движения английского пролетариата в 30 —50-х гг. XIX в., представляв­шего собой «первое широкое, действительно массовое, политически оформленное пролетарски-революционное движение» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 305).

Ромола — добродетельная героиня одноименного историче­ского романа (1863) английской писательницы Джордж Элиот (1819 — 1880). Как и имя Брайена, названного в честь известного чар­тиста, имя Ромолы приобретает характер горькой иронии, ибо облада­тели этих громких имен — голодные и оборванные нищие, пускающие­ся на всякие проделки, чтобы получить помощь от Армии спасения. Имя Rummy, уменьшительное от Romola, по звучанию вызывает ассоциацию со словом rum — «подозрительный», а также «ром».

Катехизис — краткое изложение Священного писания в форме вопросов и ответов.

Дионис (греч. миф.) — сын Зевса, бог вина и плодородия, в честь Диониса устраивались театральные празднества. ...посылают его на улицу барабанить дифирамбы. — Дифирамбы —, гимны, исполнявшиеся в честь Диониса.

Методисты — приверженцы протестантской секты, образо­вавшейся в Англии в 30-х гг. XVIII в. Методизм был основан группой студентов-богословов Оксфордского университета во главе с братьями Уэсли и Джорджем Уитфилд. Методизм ставил себе целью строгое соблюдение внешнего благочестия, регламентацию частной жизни, а также проповедовал воздержание и умеренность, осуждая праздность и роскошь.

Кальвинизм — учение протестантской церкви, основателем которого был Жан Кальвин (1509—1594). Основа кальвинизма — учение о бо­жественном предопределении одних людей к «спасению» и других — к «осуждению». Но это предопределение не исключало активной дея­тельности, поскольку, согласно Кальвину, верующий, хотя и не знает своей судьбы, своими успехами в личной жизни может доказать, что он «божий избранник».

Пресвитерианство — учение протестантской церкви; отвергает еписко­пат; пресвитерианская церковь представляет собой совокупность само­управляющихся общин, возглавляемых пресвитерами; церковь практи­чески лишена обрядности, в храмах нет икон, богослужение сводится к проповеди и песнопению. С конца XVI в. — государственная рели­гия Шотландии.

Колосс — статуя огромных размеров (например, статуя Аполлона — Колосс Родосский — около 120 футов высотой, созданная в 280 г. до н. э.).

Левиафан (библ.) — морское чудовище огромных размеров; в широком смысле — нечто огромное.

Святой Франциск (1181 —1226) — Франциск Ассизский (наст, имя Джованни Бернардоне, 1181 или 1182—1226) — религиозный деятель, основатель католического монашеского ордена францисканцев. Проповедовал по­каяние и бедность. В 1228 г. был канонизирован папой римским Григорием IX.

Святой Симеон Столпник (V в.) — религиозный деятель, проведший последние тридцать лет жизни на столпе вблизи Антиохии.

Макиавелли, Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель, автор политического трактата «Князь» и «Истории Флоренции». Макиавеллизм — политика, утверж­дающая диктатуру единоличного правителя в централизованном го­сударстве, использующая любые средства для достижения цели.

Билл предлагает двадцать сребреников. — Имеются в виду тридцать сребреников — цена, за которую, согласно евангельской ле­генде, Иуда Искариот предал Христа.

Я помню тысяча восемьсот восемьдесят шестой год... — 1886 год отмечен подъемом стачечного движения в Англии. По всей стране проходили массовые митинги безработных, правительство по­сылало войска и полицию для подавления рабочего движения. Пэл-Мэл — улица в центральной части Лондона, на которой располо­жено несколько известных клубов (происходит от названия старинной игры в шары).

Труба сионская — труба, которая, согласно Библии, якобы должна возвестить о приближении «конца мира» и «страшного суда». Доницетти, Гаэтано (1797 —1848) — итальянский композитор, азтор свыше шестидесяти опер.

Брошь в виде буквы S — то есть первой буквы слова «salva­tion» (спасение).

Мои дукаты и моя дочь... — слова Шейлока (из пьесы Шекспира «Венецианский купец»), когда он узнает, что его дочь сбежала, забрав его деньги.

Локарт — модная чайная в Лондоне, названа по имени владельца.

Пейн, Том (1737 — 1809) — американский публицист-просветитель, участ­ник борьбы Америки за независимость, французской буржуазной ре­волюции XVIII В. и английского демократического движения 90-х гг. XVIII в.

Брэдло, Чарлз (1833— 1891) — английский буржуазный политический деятель и публицист. В 1880 г. основал лигу свободомыслящих; про­поведовал атеизм и республиканские идеи.

Комментарии к третьему действию

Князь тьмы — сатана, дьявол.

«Спектэйтор» — еженедельный журнал консервативного на­правления, освещает вопросы политики, экономики, а также литера­туры и искусства. Тираж ок. 15 тыс. экз., издается в Лондоне. Основан в 1828 г., существует до сих пор.

Бернардо, Томас Джон (1845-1905) - английский филантроп, основатель и директор домов для бездомных детей.

Мидлсекс — юго-восточная часть Англии, вошедшая в 1888 г. в состав лондонского графства.

...продавал пушки Наполеону под самым носом у Георга Третьего. — В царствование короля Георга III (1760—1820) Англия вела войну против наполеоновской Франции.

Лига Подснежника — основана в 1883 г. с целью оживления деятельности консервативной партии. Названа так в память Дизраэли, любимым цветком которого был подснежник.

Ист-Энд — район Лондона, где ютится беднота.

Но посади их в известном здании Вестминстера... — Имеется в виду английский парламент, здание которого расположено в Вест­минстере (район Лондона).

Платон (428/427 — 347 до н. э.) — древнегреческий философ- идеалист.

Эллада — Греция.

«Республика» — сочинение Платона об устройстве утопического идеаль­ного государства в соответствии с интересами рабовладельцев.

Шуман, Роберт (1810 —1856) — немецкий композитор-романтик.

1

Мировоззрение (нем.).

2

Иначе (лат.).

3

Одним махом, сразу (лат.).

4

Пирсон Х. Бернард Шоу. М., 1972, с. 214

5

Шоу Б. О драме и театре. М., 1963, с. 475

6

К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, 1938, с. 321.

7

Пирсон Х. Бернард Шоу, с. 215-216.